

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

Л. Толстой  
А. Чехов  
И. Тургенев  
Н. Лесков

А. Куприн  
М. Горький  
И. Бунин  
Л. Андреев



# рассказы русских писателей

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТАЮТСЯ БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ

# рассказы русских писателей



Художник  
Ольга Подвилова





## ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ



**ФИЛИПОК**

Быль

Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему:

– Куда ты, Филипок, собрался?

– В школу.

– Ты ещё мал, не ходи. – И мать оставила его дома.

Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес, мать ушла на подённую работу. Остались в избе Филипок да бабушка на печке.

Стало Филипку скучно одному, бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашёл, взял старую отцовскую и пошёл в школу.

Школа была за селом у церкви. Когда Филипок шёл по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за Жучкой большая собака Волчок. Филипок бросился бежать, собаки за ним. Филипок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал:

– Куда ты, пострелёнок, один бежишь?

Филипок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце ни-

кого нет, а в школе, слышно, гудят голоса ребят. На Филипка нашёл страх: «Что как учитель меня прогонит?» И стал думать, что ему делать. Назад идти – опять собака заест, в школу идти – учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит:

– Все учатся, а ты что тут стоишь?

Филипок и пошёл в школу.

В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали своё, и учитель в красном шарфе ходил посередине.

– Ты что? – закричал он на Филипка.

Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил.

– Да ты кто?

Филипок молчал.

– Или ты немой?

Филипок так напугался, что говорить не мог.

– Ну, так иди домой, коль и говорить не хочешь.

А Филипок и рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик.

– Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришёл в школу.

– Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу.

Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их уже знал и немножко читать умел.

– Ну-ка, сложи своё имя.

Филипок сказал:

– Хве-и – хви, ле-и – ли, пе-ок – пок.

Все засмеялись.

– Молодец, – сказал учитель. – Кто же тебя учил читать?

Филипок осмелился и сказал:

– Костюшка! Я бедовый, я сразу всё понял. Я страсть какой ловкий!

Учитель засмеялся и сказал:

– Ты погоди хвалиться, а поучись.

С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.

## АКУЛА

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер, но к вечеру погода изменилась: стало душно и, точно из топленной печки, несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул:

– Купаться!

И в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню.

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему:

– Не выдавай! Понатужься!

Вдруг с палубы кто-то крикнул:

– Акула!

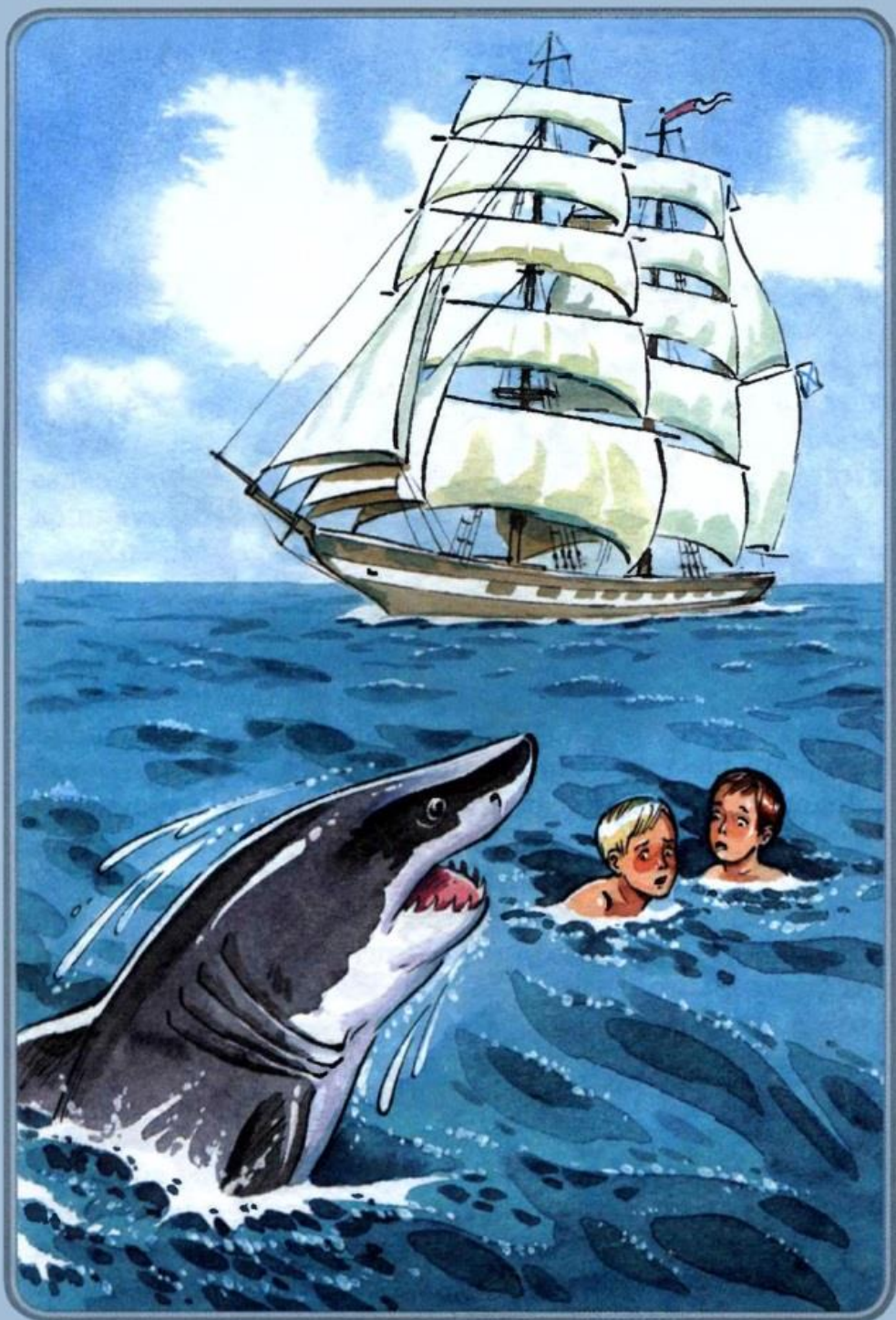
И все мы увидали в воде спину морского чудовища.

Акула плыла прямо на мальчиков.

– Назад! Назад! Вернитесь! Акула! – закричал артиллерист.

Но ребята не слышали его, плыли дальше, смеялись и кричали ещё веселее и громче прежнего.





Толстой Л. Н.  
«Акула»

Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей.

Матросы спустили лодку, бросились в неё и, сгибая вёсла, понеслись что было силы к мальчикам, но они были ещё далеко от них, когда акула уже была не дальше двадцати шагов. Мальчики сначала не слышали того, что им кричали, и не видали акулы; но потом один из них оглянулся, и мы все услышали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны.

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилёг к пушке, прицелился и взял фитиль.

Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет.

Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза.

Но когда дым разошёлся над водою, со всех сторон слышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий, радостный крик.

Старый артиллерист открыл глаза, поднялся и посмотрел на море.

По волнам колыхалось жёлтое брюхо мёртвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.

**ПРЫЖОК**

Быль

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи,



передразнивала людей, и видно было – она знала, что ею забавляются, и оттого ещё больше расходилась.

Она подпрыгнула к двенадцатилетнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать её. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи.

Мальчик погрозил ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по верёвке на первую перекладину; но обезьяна ещё ловчее и быстрее его в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась ещё выше.

– Так не уйдёшь же ты от меня! – закричал мальчик и полез выше.

Обезьяна опять подманила его и полезла ещё выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха.

На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой<sup>1</sup> за верёвку, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась.

От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать её нельзя было иначе, как выпустить из рук верёвку и мачту.

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын;

---

<sup>1</sup> У обезьян четыре руки (Примеч. Л. Н. Толстого).

но как увидели, что он пустил верёвку и ступил на пере-  
кладину, покачивая руками, все замерли от страха.

Стоило ему только оступиться – и он бы вдребезги  
разбился о палубу. Да если б даже он и не оступился, а  
дошёл до края перекладки и взял шляпу, то трудно было  
ему повернуться и дойти назад до мачты.

Все молча смотрели на него и ждали, что будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха... Мальчик от  
этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался.

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из  
каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять чаек. Он увидел сы-  
на на мачте и тотчас же прицелился в сына и закричал:

– В воду! Прыгай сейчас в воду! Застрелю!

Мальчик шатался, но не понимал.

– Прыгай или застрелю! Раз, два...

И как только отец крикнул «три», мальчик размахнулся  
головой вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело мальчика в море,  
и не успели волны закрыть его, как уже двадцать молод-  
цов матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через  
сорок – они долги показались всем – вынырнуло тело  
мальчика. Его схватили и вытащили на корабль.

Через несколько минут у него изо рта и носа полилась  
вода, и он стал дышать.

Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто  
его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтобы никто  
не видал, как он плачет.



## ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ



### ВАНЬКА

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Этот маленький, тощенький, но



необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелёк Вьюн, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, шурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплёскивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит:

– Отдирай, примёрзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и не вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребрённые инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пушают, а раз я видал в одной лавке, на окне, крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал некоторые лавки, где ружья всякие, на манер бариновых, так что небось рублией сто каждое... А в мясных лавках и тетерева,

и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи — для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять устался на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед кричал, и мороз кричал, а глядя на них, и Ванька кричал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не вскрикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать её... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом-Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А наемдни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропадающая моя жизнь, хуже собаки всякой... А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».



Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

*На деревню дедушке*

Потом почесался, подумал и прибавил: «*Константину Макарычу*». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка... На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

## **БЕЛОЛОБЫЙ**

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её; ей казалось, будто за деревьями в потёмках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже немолода, и чутьё у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и

иногда даже, обманутая чутьём, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребьятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у неё детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В вёрстах четырёх от её логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днём бродил по лесу с ружьём-одностволкой и посвистывал на зайцев.

Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» – и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нём находилась громадная чёрная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперёд, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошёл с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробежала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Её мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягнёнка, и от таких мыслей зубы у неё щёлкали и глаза светились в потёмках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо, Арапка, должно быть, спала под сараем. По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на неё вдруг прямо в морду пахнуло тёплым

паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягнёнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тёплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попало в зубы, и бросилась вон...

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

– Полный ход! Пошёл к свистку!

И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу всё это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что её добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто твёрже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и как ни в чём не бывало замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щёлкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчётливо каждую осин-



ку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? – думала волчиха с досадой. – Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

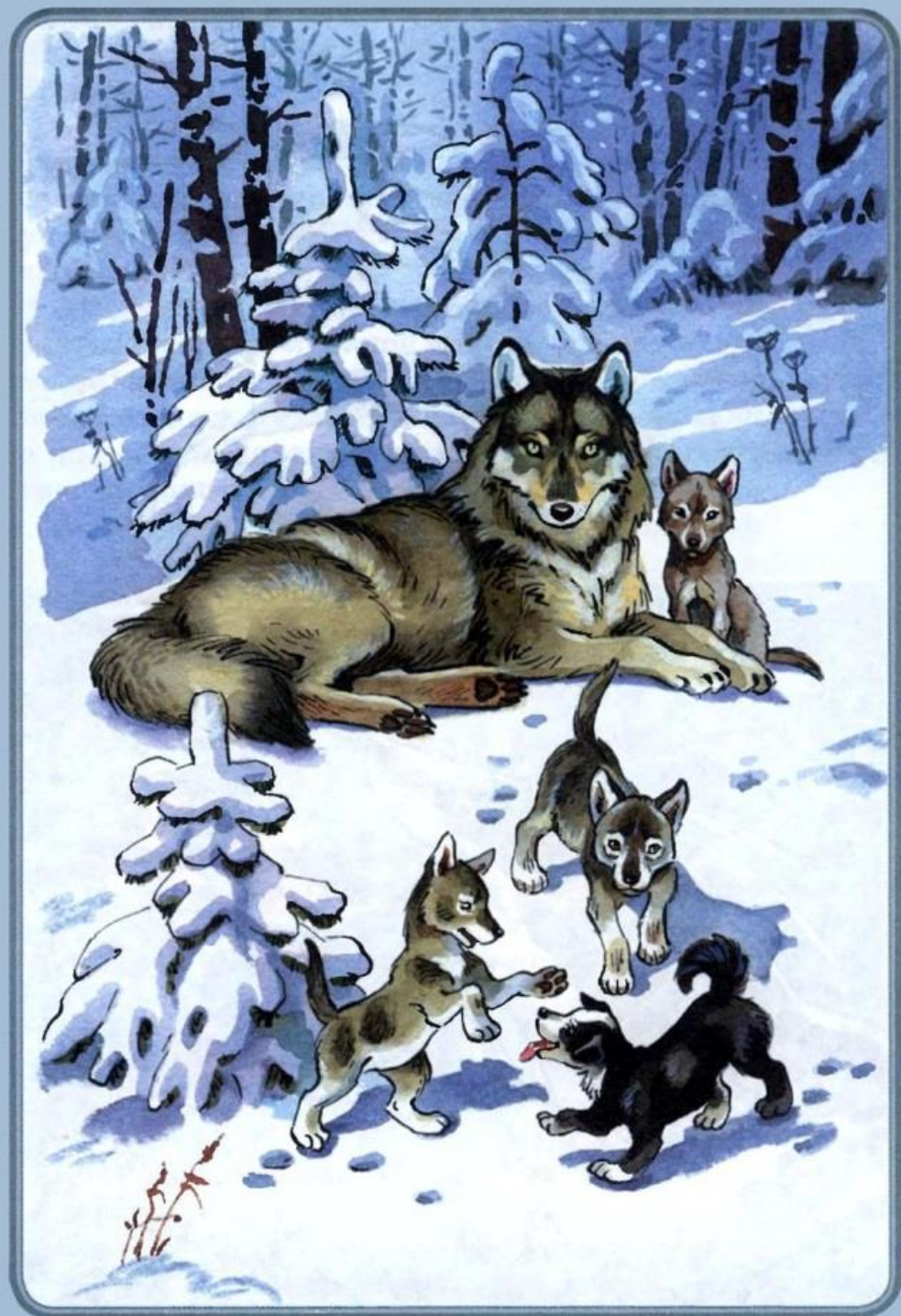
Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне её были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он всё стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; её мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его... Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал:

– Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая



Чехов А. П.  
«Белолобый»

хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроём напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха подумала:

«Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлую ночью в хлеву блял ягнёнок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она всё щёлкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягнёнок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» – решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул её в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушёл домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и её пугали пни, дрова, тёмные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко

впереди на дороге замелькало что-то тёмное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая всё в сторону, обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. Это не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», – подумала волчиха и быстро побежала вперёд.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яркой соломой, и по крыше протянулись две новые следи. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идёт ли щенок, но едва пахнуло на неё тёплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, залихватый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял ещё громче... Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завывала, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

– Фюйть! – засвистел Игнат. – Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок – ружьё дало осечку; он спустил ещё раз – опять осечка; он спустил в третий раз – и громадный огненный снап вылетел из ствола, и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружьё, а в другую топор, он пошёл посмотреть, отчего шум... Немного погодя он вернулся в избу.

– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

– Ничего... – ответил Игнат. – Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит всё как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушёл, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

– Глупый.

– Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! – вздохнул Игнат, полезая на печь. – Ну, Божий человек, рано ещё вставать, давай спать полным ходом...

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё приговаривал:

– Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

## КАШТАНКА

### Глава первая *Дурное поведение*

Молодая рыжая собака – помесь такса с дворняжкой, – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперёд по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчёт: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что её хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завёрнутую в красный платок, и крикнул:

– Каштанка, пойдём!

Услыхав своё имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что её взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за соба-



ками. Столяр то и дело терял её из виду, останавливался и сердито кричал на неё. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

– Чтоб... ты... из...дох... ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашёл на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошёл он к знакомому переплётчику, от переплётчика в трактир, из трактира к куму и т.д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

– Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идём и на фонарики глядим, а как помрём – в геенне огненной гореть будем...

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

– Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты всё равно что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на неё шёл полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завывала. К великому её удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фронт и всей пятернёй сделал под козырёк. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка ещё громче завывала и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперёд, потом назад, ещё раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его

следов, но раньше какой-то негодяй прошёл в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать. Каштанка бегала взад и вперёд и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шёл крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоня ей поле зрения и толкая её ногами, безостановочно взад и вперёд проходили незнакомые заказчики. (Всё человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить её, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на неё никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило её, уши и лапы её озябли, и к тому же ещё она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплётчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу – вот и всё. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы: «Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

## Глава вторая

### *Таинственный незнакомец*

Но она ни о чём не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил её спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжёлую дремоту, вдруг подъездная дверь щёлкнула, запищала и ударила её

по боку. Она вскочила. Из отворённой двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на неё внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.

– Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с её спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный пёсик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца тёплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила ещё жалостнее.

– Ах ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Со всем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдём со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдём!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки... Сначала он дал ей хлеба и зелёную корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи всё это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала неразжёванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всём теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока её новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он даёт много есть, и надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил её, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-о-шла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

– Эй ты, пёс, поди сюда! – сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. – Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком... Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею... Он вытаскивал её за задние лапы из-под верстака и выделял с нею такие фокусы, что у неё зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял её ходить на задних лапах, изображал из неё колокол, то есть сильно дёргал её за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табуку... Особенно мучителен был следую-

щий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из её желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью... Она стала засыпать. В её воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазах и с ключьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг друга носы и побежали на улицу...

### Глава третья

#### *Новое, очень приятное знакомство*

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днём. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошла по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была ещё одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала её обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.

– Рррр... – заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завилыла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадьё. Из спальни вела куда-то ещё одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на неё грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах.



Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на неё шёл серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту... Кот ещё сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошёл сзади и больно долбанул её клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

– Это что такое? – послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошёл незнакомец в халате и с сигарой в зубах. – Что это значит? На место!

Он подошёл к коту, щёлкнул его по выгнутой спине и сказал:

– Фёдор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

– Иван Иваныч, на место!

Кот покорно лёг на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чём-то быстро, горячо и отчётливо, но крайне непонятно.

– Ладно, ладно! – сказал хозяин, зевая. – Надо жить мирно и дружно. – Он погладил Каштанку и продолжал: – А ты, рыжик, не бойся... Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

– Вот что... Ты будешь – Тётка... Понимаешь? Тётка!

И, повторив несколько раз слово «Тётка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чём-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивлённо пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью... Послушав его и ответив ему: «рррр», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела мочёный горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох – невкусно, попробовала корки – и стала есть. Гусь несколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил ещё горячее и, чтобы показать своё доверие, сам подошёл к корытцу и съел несколько горошинок.

#### **Глава четвёртая**

#### *Чудеса в решете*

Немного погодя опять вошёл незнакомец и принёс с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись верёвочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

– Иван Иванович, пожалуйста!

Гусь подошёл к нему и остановился в ожидательной позе.

– Ну-с, – сказал незнакомец, – начнём с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!

Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.

– Так, молодец... Теперь умри!

Гусь лёг на спину и задрал вверх лапы. Прodelав ещё несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своём лице ужас и закричал:

– Караул! Пожар! Горим!

Иван Иваныч подбежал к П, взял в клюв верёвку и зазвонил в колокол.

Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:

– Молодец, Иван Иваныч! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаёшь в нём воров. Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую верёвочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.

– Тётка, на место! – крикнул ей незнакомец. – Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причём гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:

– Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Через минуту послышалось хрюканье... Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то,пустила чёрную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх

своей пяточкой и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Ивановича. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пяточком и потом о чём-то заговорила с гусем, в её движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно.

Хозяин убрал П и крикнул:

– Фёдор Тимофеич, пожалуйте!

Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошёл к свинье.

– Ну-с, начнём с египетской пирамиды, – начал хозяин.

Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз... два... три!» Иван Иванович при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи... Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Фёдор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош своё искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы.

Получилось то, что незнакомец называл «египетской пирамидой». Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т.п.

Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел, Фёдор Тимофеич брезгливо фыркнул, лёг на матрасик и закрыл глаза, Иван Иванович направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошёл для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Фёдора Тимофеича и гуся.

## Глава пятая

### *Талант! Талант!*

Прошёл месяц. Каштанка уже привыкла к тому, что её каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Тёткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к Тётке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чём-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умён, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не даёт никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «рррр»...

Фёдор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолго любил жизни.

Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, всё презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал. Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире; гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз



Фёдор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тётка ложилась на матрасик и начинала грустить... Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потёмки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении её появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тётка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила... А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхолощенного пса, однажды перед ученьем хозяин погладил её и сказал:

– Пора нам, Тётка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать... Ты хочешь быть артисткой?

И он стал учить её разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над её головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Фёдора Тимофеича в «египетской пирамиде». Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высушенным языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Фёдоре Тимофеиче доставляли ей величайшее

наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.

– Талант! Талант! – говорил он. – Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!

И Тётка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было её кличкой.

## Глава шестая

### *Беспокойная ночь*

Тётке приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.

В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тётка раньше никогда не боялась потёмок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом немного погодя в своём сарайчике хрюкнула свинья, и опять всё смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тётка стала думать о том, как она сегодня украла у Фёдора Тимофеича куриную лапку и спрятала её в гостиной между шкафом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашёл её и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки – такое правило. Тётка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснёшь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от неё раздался странный крик, который заставил её вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потёмках и не поняв, Тётка почувствовала ещё больший страх и проворчала:

– Prrrrr...

Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тётка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие чёрные собаки с ключьями прошлогодней шерсти на бёдрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шёл белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тётку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тётка подошла к лохани и стала кушать, но как только мужик ушёл за ворота, обе чёрные собаки с рёвом бросились на неё, и вдруг опять раздался пронзительный крик.

– К-ге! К-ге-ге! – крикнул Иван Иваныч.

Тётка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иваныч, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.

Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошёл хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потёмки. Тётка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иваныч сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Фёдор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.

– Иван Иваныч, что с тобой? – спросил хозяин у гуся. – Что ты кричишь? Ты болен?

Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:

– Ты чудак. И сам не спишь и другим не даёшь.

Когда хозяин вышел и унёс с собою свет, опять наступили потёмки. Тётке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потёмках стоит кто-то чужой.

Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Фёдор Тимофеич тоже был непокоен. Тётка слышала, как он возился на своём матрасике, зевал и встряхивал головой.

Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тётка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потёмках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Ивановича. Всё было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тётки на мгновение вспыхнули две тусклые зелёные искорки. Это в первый раз за всё время знакомства подошёл к ней Фёдор Тимофеич. Что ему нужно было? Тётка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришёл, завывала тихо и на разные голоса.

– К-ге! – крикнул Иван Иванович. – К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошёл хозяин со свечой.

Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.

– Иван Иванович! – позвал хозяин.

Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:

– Иван Иванович! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! – вскрикнул он и схватил себя за голову. – Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, Боже мой!

Тётка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждёт чего-то ужасного. Она протянула морду к тёмному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завывала.

– Он умирает, Тётка! – сказал хозяин и всплеснул ру-

ками. – Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?

Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тётке жутко было оставаться в потёмках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:

– Боже мой, что же делать?

Тётка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у неё такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Фёдор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошёл в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из неё тяжёлые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать.

Хозяин взял блюдечко, налил в него из ручкомойника воды и опять пошёл к гусю.

– Пей, Иван Иванович! – сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. – Пей, голубчик.

Но Иван Иванович не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, ещё шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.

– Нет, ничего уже нельзя сделать! – вздохнул хозяин. – Всё кончено. Пропал Иван Иванович!

И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чём дело, Тётка и Фёдор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.

– Бедный Иван Иванович! – говорил хозяин, печально вздыхая. – А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зелёной травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?

Тётке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она вот так, неизвестно отчего, закроет глаза,

протянет лапы, оскалит рот, и все на неё будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Фёдора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.

Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тётку. Когда совсем рассвело, пришёл дворник, взял гуся за лапы и унёс его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.

Тётка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф: хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своём месте, в пыли и паутине. Но Тётке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:

– Ску-ску-ску...

## Глава седьмая *Неудачный дебют*

В один прекрасный вечер хозяин вошёл в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:

– Ну-с...

Что-то он хотел ещё сказать, но не сказал и вышел. Тётка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя он вернулся и сказал:

– Сегодня я возьму с собой Тётку и Фёдора Тимофеича. В египетской пирамиде ты, Тётка, заменишь сегодня покойного Ивана Иваныча. Чёрт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!

Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причём Фёдор Тимофеич казался очень равнодушным и даже не по-

трудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно всё равно: лежать ли, или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой...

– Тётка, пойдём, – сказал хозяин.

Ничего не понимая и виляя хвостом, Тётка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяйина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:

– Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещён дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.

Хозяин взял на руки Тётку и сунул её на грудь, под шубу, где находился Фёдор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зелёные искорки – это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными, жёсткими лапами соседки. Тётка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещённую комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решёток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Кот сипло замыкал под лапами Тётки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Фёдор Тимофеич с Тёткою прыгнули на пол. Они уже были в малень-



кой комнате с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и вместо лампы или свечи горел яркий веерообразный огонёк, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Фёдор Тимофеевич облизал свою шубу, помятую Тёткой, пошёл под табурет и лёг. Хозяин, всё ещё волнуясь и потирая руки, стал раздеваться... Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял всё, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал ещё брови, усы и румяна. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого Тётка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застёгиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая – из светло-жёлтого. Утонувши в них, хозяин надел ещё ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зелёные башмаки...

У Тётки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у неё был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тётку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пёстрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонёк, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, – всё это вселяло в неё неопределённый страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут ещё где-то за

стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рёв. Одно только и успокаивало её – это невозмутимость Фёдора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет.

Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:

– Сейчас выход мисс Арабеллы. После неё – вы.

Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тётка слышала, как дрожало его дыхание.

– Monsieur Жорж, пожалуйста! – крикнул кто-то за дверью.

Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан.

– Иди, Тётка! – сказал он тихо.

Тётка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал её в голову и положил рядом с Фёдором Тимофеичем. Засим наступили потёмки... Тётка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал...

– А вот и я! – громко крикнул хозяин. – А вот и я!

Тётка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твёрдое и перестал качаться. Послышался громкий густой рёв: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рёв раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.

– Га! – крикнул он, стараясь перекричать рёв. – Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжёлое – очевидно, золото... Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим...

В чемодане щёлкнул замок. Яркий свет ударил Тётку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушённая рёвом, быстро, во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.

– Га! – закричал хозяин. – Дядюшка Фёдор Тимофеич! Дорогая Тётушка! Милые родственники, чёрт бы вас взял!

Он упал животом на песок, схватил кота и Тётку и принялся обнимать их. Тётка, пока он тискал её в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла её судьба, и, поражённая его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

– Тётушка, прошу вас сесть! – крикнул хозяин.

Помня, что это значит, Тётка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьёзно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, поддёргивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячей лиц. Тётка поверила его весёлости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на неё смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завывала.

– Вы, Тётушка, посидите, – сказал ей хозяин, – а мы с дядюшкой попляшем камаринского.

Фёдор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движению, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя... Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.

– Ну-с, Тётушка, – сказал хозяин, – сначала мы с вами споём, а потом попляшем. Хорошо?



Чехов А. П.  
«Каштанка»

Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тётка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завывала. Со всех сторон слышались рёв и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда всё стихло, продолжал играть... Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.

– Тятка! – крикнул детский голос. – А ведь это Каштанка!

– Каштанка и есть! – подтвердил пьяненький, дребезжащий тенорок. – Каштанка! Федюшка, это, накажи Бог, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один – детский, другой – мужской, громко позвали:

– Каштанка! Каштанка!

Тётка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое – пухлое, краснощёкое и испуганное, – ударили её по глазам, как раньше ударил яркий свет... Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рёв, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:

– Каштанка! Каштанка!

Тётка прыгнула через барьер, потом через чьё-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тётка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась всё выше и выше и, наконец, попала на галёрку...

Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.

– В бездне греховней валяюся во утробе моей... – бормотал он. – А ты, Каштанка, – недоумение. Супротив человека ты всё равно что плотник супротив столяра.

Рядом с ним шагала Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идёт за ними и радуется, что жизнь её не обрывалась ни на минуту.

Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся, Фёдора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но всё это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжёлый сон...

## ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ



**МУМУ**

В одной из отдалённых улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами, антресолю<sup>2</sup> и покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окружённая многочисленной дворней<sup>3</sup>. Сыновья её служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединённо доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День её, нерадостный и ненастный, давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи.

Из числа всей её челяди<sup>4</sup> самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста<sup>5</sup>, сложенный богатырём и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком<sup>6</sup>. Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, каза-

---

<sup>2</sup> Антресоль – верхний этаж с низкими потолками в старинных дворянских домах.

<sup>3</sup> Дворня – крепостная прислуга в барском доме.

<sup>4</sup> Челядь – дворовые слуги.

<sup>5</sup> «Мужчина двенадцати вершков роста...» – то есть выше двух аршин на двенадцать вершков; примерно ростом около двух метров.

<sup>6</sup> Тягловый мужик – крепостной крестьянин, который был обязан обрабатывать поля помещика и платить ему подати.



лось, один, без помощи лошадёнки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой берёзовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трёхаршинным цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твёрдые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житьё. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле... Переселённый в город, он не понимал, что с ним такое деется, — скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги, — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат — Бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса всё у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы добиться от них разрешения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного: вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натас-

кать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самоё лошадь спихнёт с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчёт чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не веди, все в околотке<sup>7</sup> очень стали уважать его; даже днём проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских – они его побаивались, – а коротких; он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице<sup>8</sup>. Вообще Герасим был нрава строгого и серьёзного, любил во всём порядок; даже петухи при нём не смели драться, а то беда – увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку: он устроил её себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбанах – истинно богатырскую кровать: сто пудов можно было положить на неё – не погну-

---

<sup>7</sup> Околоток – часть, район города.

<sup>8</sup> Застолица – здесь: комната, где обедали дворовые люди.

лась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трёх ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнётся. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошёл год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всём следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оценённым по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-нибудь захолустье, и если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нём речь у барыни с её главным дворецким<sup>9</sup>, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его жёлтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскивали где-то на улице.

– А что, Гаврила, – заговорила вдруг она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

– Отчего же не женить-с! можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с.

---

<sup>9</sup> Дворецкий – старший слуга в барском доме, заведовавший домашним хозяйством и прислугой.

– Да; только кто ж за него пойдёт?

– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Всё же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

– Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

– Да!.. пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?

– Слушаю-с, – произнёс Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило.

Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецко-го.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и учёной прачке, поручалось одно только тонкое бельё), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости её держали в чёрном теле: работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали её плохо; жалованье она получала самое маленькое; родни у неё всё равно что не было: один какой-то старый ключник<sup>10</sup>, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей да другие дядья у ней в мужиках состояли, вот и всё.

---

<sup>10</sup> Ключник – слуга, заведовавший в барском доме съестными припасами, кладовой и погребом.

Когда-то она слыла красавицей, но красота с неё очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смиренного, или, лучше сказать, запуганного; к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других – боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та её почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробежать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на неё особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на неё начал, наконец и вовсе глаз с неё не спускал. Полюбилась она ему: кротким ли выражением лица, робостью ли движений – Бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдруг сильно схватил её за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошёл прочь и, обернувшись, ещё раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдёт, он уж тут как тут, идёт ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил, да и её при нём оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень

был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша<sup>11</sup>, начальница Татьяны, принялась её, как говорится, шпынять и до того её довела, что та, бедная, не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил её на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой чёрт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью<sup>12</sup>. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалялся с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвёл в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной.

И всё это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила её повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжёлой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала, как верного и сильного сторожа. Герасим порядком её побаивался, но всё-таки надеялся на её милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

---

<sup>11</sup> Кастелянша – здесь: женщина, ведавшая барским бельём.

<sup>12</sup> Девичья – комната в барском доме, где жили горничные и другие крепостные служанки.

Читатель теперь легко сам поймёт причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), всё же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и, наконец, оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости, господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он всё в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, чёрта эдакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошёл, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провёл рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. «Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?»

– Хорош, – проговорил Гаврила и помолчал. – Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передёрнул. «А ты небось лучше?» – подумал он про себя.

– Ну, посмотри на себя, ну посмотри, – продолжал с укоризной Гаврила. – Ну на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатаемые панталоны, с особенным вниманием посмотрел на свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.



– А что-с?

– Что-с? – повторил Гаврила. – Что-с? Ещё ты говоришь: что-с? На чёрта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож!

Капитон проворно замигал глазками. «Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич», – подумал он про себя.

– Ведь вот ты опять пьян был, – начал Гаврила, – ведь опять? А? Ну, отвечай же.

– По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно, – возразил Капитон.

– По слабости здоровья? Мало тебя наказывают – вот что; а в Питере ещё был в ученье... Многому ты выучился в ученье. Только хлеб даром ешь.

– В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья: сам Господь Бог – и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сём свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства – то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ: сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушёл, то есть, а...

– А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубённый человек! Ну, да дело не в том, – продолжал дворецкий, – а вот что. Барыне... – тут он помолчал, – барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь? – Как не понимать-с.

– Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? ты согласен?

Капитон ослабился:

– Женильба – дело хорошее для человека, Гаврила Андреич; и я, со своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

– Ну да, – возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». – Только вот что, – продолжал он вслух, – невесту-то тебе приискали неладную.

– А какую, позвольте полюбопытствовать?..

– Татьяну.

– Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

– Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по нраву?

– Какое не по нраву, Гаврила Андреич! девка она ничего, работница, смиренная девка... Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то, леший, кикимора-то степная, ведь он за ней...

– Знаю, брат, всё знаю, – с досадой прервал его дворецкий, – да ведь...

– Да помилуйте, Гаврила Андреич! ведь он меня убьёт, ей-богу, убьёт, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы извольте сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьёт и не слышит, как бьёт! Словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности; почему? потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и, вдобавку, глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич, – хуже идола... осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уж теперь всё нипочём: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок, – всё же я, однако, человек, а не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.

– Знаю, знаю, не расписывай...

– Господи Боже мой! – с жаром продолжал башмачник, – когда же конец? когда, Господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В малых летах был я бит через немца-хозяина, в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до чего дослужился...

– Эх ты, мочальная душа! – проговорил Гаврила. – Чего распространяешься, право!

– Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гав-

рила Андреич. Накажи меня господин в стенах да подай мне при людях приветствие, и всё я в числе человек, а тут ведь от кого приходится...

– Ну, пошёл вон, – нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и поплёлся вон.

– А положим, его бы не было, – крикнул ему вслед дворецкий, – ты-то сам согласен?

– Изъявляю, – возразил Капитон и удалился. Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошёлся по комнате.

– Ну, позовите теперь Татьяну, – промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

– Что прикажете, Гаврила Андреич? – проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на неё.

– Ну, – промолвил он, – Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала.

– Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в женихи назначают? – прибавила она с нерешительностью.

– Капитона, башмачника.

– Слушаю-с.

– Он легкомысленный человек, это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

– Слушаю-с.

– Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гераська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьёт тебя, пожалуй, медведь этакой...

– Убьёт, Гаврила Андреич, беспрременно убьёт.

– Убьёт... Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьёт. Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

– А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

– Экая! ведь ты ему этак ничего не обещала...

– Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал: «Безответная ты душа!»

– Ну хорошо, – прибавил он, – мы ещё поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолоку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, – подумал дворецкий, – я-то из чего растревожился? Озорника-то этого мы скрутим; коли что, в полицию знать дадим...»

– Устинья Фёдоровна, – крикнул он громким голосом своей жене, – наставьте-ка самоварчик, моя почтенная...

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утёрла слёзы и принялась по-прежнему за работу...

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньенок<sup>13</sup>, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днём. Когда Гаврила вошёл к ней после чаю с докладом, первым её вопросом было: а что наша свадьба, идёт? Он, разумеется, отвечал, что идёт как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось: она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело, точно, требовало особенного обсуждения. Татьяна не прекословила, конечно, но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три... Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их

---

<sup>13</sup> Компаньонка – здесь: приживалка в барском доме, обедневшая дворянка, жившая из милости у богатых людей.

присутствовал старый буфетчик, по прозвищу дядя Хвост, к которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да: да, да, да) начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе; но боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоится – беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагруженный человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но её уговорили; притом сама она видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика; дело всё-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю... Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него...

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычанием закивал головой; потом вгляделся, уронил лопату, вскочил, подошёл к ней, придвинул своё лицо к самому её лицу... Она от страха ещё больше зашаталась и закрыла глаза... Он схватил её за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул её прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла... Герасим постоял, поглядел на неё, махнул рукой, усмехнулся и пошёл, тяжело ступая, в свою каморку. Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор<sup>14</sup> Антипка сказывал потом, что он сквозь

---

<sup>14</sup> Форейтор. – В старину в барский экипаж запрягали иногда по четыре-шесть лошадей цугом (парами одна за другой); ими правили два кучера: один сидел на козлах, другой – форейтор – на одной из передних лошадей.

щёлку видел, будто Герасим, сидя на кровати и приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошёл от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нём особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее и на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чём; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тёр свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Всё это происходило весною. Прошёл ещё год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе со своею женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он всё не пропадёт, но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог, какая-то сострадательная душа надвинула её ему на лоб, поправила козырёк и сверху её прихлопнула. Когда же всё было готово и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова: «С Богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для неё же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, сядясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с

Герасимом. Он хотел проводить её до заставы и пошёл сперва рядом с её телегой, но вдруг остановился на Крымском Броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шёл тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с чёрными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил её одной рукой, сунул её к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошёл в свою каморку, уложил спасённого щенка на кровати, прикрыл его своим тяжёлым армяком<sup>15</sup>, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у неё прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она ещё не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял её легонько двумя пальцами за голову и принагнул её мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлёбываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеётся вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывал её, обтирал и заснул наконец сам возле неё каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребёнком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привя-

---

<sup>15</sup> Армяк – верхняя крестьянская одежда из толстого сукна.



залась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, всё ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал – немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других, – он назвал её Муму. Все люди в доме её полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам её любил без памяти... и ему было неприятно, когда другие её гладили: боялся он, что ли, за неё, ревновал ли он к ней – Бог весть! Она его будила по утрам, дёргая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице от-правлялась вместе с ним на реку, караулила его мётлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для неё прорезал отверстие в своей двери. И она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в неё, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, кото-рая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив гла-за, лает просто от скуки, так, на звёзды, и обыкновенно три раза сряду, – нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох... Словом, она сторожила отлично. Правда, был ещё, кроме её, на дворе старый пёс, жёлтого цвета, с бу-рыми крапинами, по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости сво-ей, вовсе не требовал свободы – лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти без-звучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, наострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево при малейшем стуке за дверями...

Так прошёл ещё год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство... а именно: в один прекрасный летний день барыня со своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил весёлый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у неё продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам), – и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. Со сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидела её.

– Боже мой! – воскликнула она вдруг, – что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он ещё не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

– Н...н...е знаю-с, – пробормотала она, – кажется, немного...

– Боже мой! – прервала её барыня, – да она премиленькая собачка! Велите её привести. Давно она у него? Как же я это её не видала до сих пор?.. Велите её привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

– Человек, человек! – закричала она. – Приведите поскорее Муму! Она в палисаднике.

– А, её Муму зовут, – промолвила барыня, – очень хорошее имя.

– Ах, очень-с, – возразила приживалка. – Скорей, Степан!

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевёртывая её в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить её у самых ног её хозяйна; но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увёртывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял её с земли и передал Степану. Степан принёс её в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала её ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду ещё не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.

– Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, – говорила госпожа, – подойди, глупенькая... не бойся...

– Подойди, подойди, Муму, к барыне, – твердили приживалки, – подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

– Принесите ей чего-нибудь поесть, – сказала барыня. – Какая она глупая! к барыне нейдёт. Чего боится?

– Они не привыкли ещё, – произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принёс блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и всё дрожала и озиралась по-прежнему.

– Ах, какая же ты! – промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить её, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдёрнула руку...

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь... Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки её испугало.

– Ах! – закричали разом все приживалки, – не укусила ли она вас, сохрани Бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

– Отнеси её вон, – проговорила изменившимся голосом старуха. – Скверная собачонка! Какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь я вас не зову», – и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил её поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима, – а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина и старая барыня сидела на своём диване мрачнее грозовой тучи.

Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у неё пахнет мылом, и заставила кастеляншу всё бельё перенюхать, – словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

– Скажи, пожалуйста, – начала она, как только тот, без некоторого внутреннего трепетания, переступил порог

её кабинета, – что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не дала!

– Собака-с... какая-с... может быть, немного собака-с, – произнёс он не совсем твёрдым голосом.

– Не знаю, немного ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака?

– Как же-с, есть-с. Волчок-с.

– Ну, чего ещё, на что нам ещё собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме – вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызёт – а у меня там розы посажены...

Барыня помолчала.

– Чтоб её сегодня же здесь не было... Слышишь?

– Слушаю-с.

– Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я потом позову.

Гаврила вышел.

Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике<sup>16</sup> спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине<sup>17</sup>, судорожно вытянув обнажённые ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и

---

<sup>16</sup> Коник – широкая, в виде ларя с поднимающейся крышкой, лавка для спанья.

<sup>17</sup> Батальная картина – картина, изображающая сражение.

кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул её плечом и ввалился в дом со своей ношей, а Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на неё, как коршун на цыплёнка, придавил её грудью к земле, сгрёб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд<sup>18</sup>. Там он скоро отыскал покупателя, которому уступил её за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал её на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор: в калитку-то он побоялся идти – как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он ещё не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать её, кликать по-своему... бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу – туда-сюда... Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал её руками... Иные, точно, не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомлённому виду, по неверной походке, по запылённой одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал ещё раз: «Муму!» –

---

<sup>18</sup> Охотный ряд – одна из центральных улиц в Москве; в старину там находился рынок.

Муму не отозвалась. Он пошёл прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова... а любопытный фореитор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли её приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки и принялся за работу. К обеду он пришёл, поел и ушёл опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал.

Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дёргают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился, но вот опять его дёрнули, сильнее прежнего; он вскочил... перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул её в своих объятиях; она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду... Он постоял, подумал, осторожно слез с сеника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что её, должно быть, свели по приказанию барыни: люди-то ему объяснили знаками, как его Муму на неё окрысилась, – и он решил принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал её, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролёт и соображал, как бы получше её спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять её в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком и чуть свет был

уже на дворе как ни в чём не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страха перед ним не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке да махнул рукой: «Ну, мол, Бог с ним! Авось до барыни не дойдёт!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил, — словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его радение<sup>19</sup>. В течение дня Герасим раза два украдкой заходил к своей затворнице; когда же наступила ночь, он лёг спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму наострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай её разбудил; сердце у ней забилось и замерло.

– Девки, девки! – простонала она. – Девки!

Перепуганные девки вскочили к ней в спальню.

– Ох, ох, умираю! – проговорила она, тоскливо разводя руками. – Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за докто-

---

<sup>19</sup> Радение – старание.



ром. Они меня убить хотят... Собака, опять собака! Ох! – И она закинула голову назад, что должно было означать обморок.

Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого всё искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно братья за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, а остальное время всё вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями, – этот лекарь тотчас прибежал, покурив жжёными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднёс ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что её, бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят её смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать её от забора.

– Вот... вот... опять, – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб.

Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидел замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломались в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же её в живых не будет, и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокои-

лась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок; сила лавровишенья и подействовала – через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал её пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лёжа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

– Любовь Любимовна, – начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдальцей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко, – Любовь Любимовна, вы видите, каково моё положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, – прибавила она с выражением глубокого чувства, – подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чём происходил у них разговор; но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара; из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояло два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли её во всю длину. Гаврила подошёл к двери, стукнул в неё кулаком, крикнул:

– Отвори.

Послышался слабый лай; но ответа не было.

– Говорят, отвори! – повторил он.

– Да, Гаврила Андреич, – заметил снизу Степан, – ведь он глухой – не слышит.

Все засмеялись.

– Как же быть? – возразил сверху Гаврила.

– А у него там дыра в двери, – отвечал Степан, – так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

– Он её армяком каким-то заткнул, дыру-то.

– А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

– Вишь, вишь, сама сказывается, – заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

– Нет, брат, – продолжал он наконец, – армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

– А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он ещё болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась – вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы. Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

– Ну, ну, ну, ну, – кричал Гаврила со двора, – смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперёд.

– Смотри, брат, – промолвил он, – у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол,

непрерывно требует твоей собаки; подавай, мол, её сейчас, а то беда тебе будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с восторженным лицом взглянул на дворецкого.

– Да, да, – возразил тот, кивая головой, – да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая всё время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берёт на себя уничтожить Муму.

– Да ты обманешь, – замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

– Что ж это такое значит? – начал Гаврила. – Он заперся?

– Оставьте его, Гаврила Андреич, – промолвил Степан, – он сделает, коли обещал. Уж он такой... Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то что наш брат. Что правда, то правда. Да.

– Да, – повторили все и тряхнули головами. – Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «да».

– Ну, пожалуй, посмотрим, – возразил Гаврила. – А караул всё-таки не снимать. Эй ты, Ерощка! – прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в жёлтом нанковом казакине<sup>20</sup>, который считался садовником. – Что тебе делать? Возьми палку да и сиди тут, и чуть что, тотчас ко мне беги!

Ерощка взял палку и сел на последнюю ступеньку

---

<sup>20</sup> Нанковый казакин – одежда из грубой материи.

лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что всё исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хозялому<sup>21</sup>. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потёрла себе виски, накушалась чаю и, будучи ещё под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим. На нём был праздничный кафтан; он вёл Муму на верёвочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку, в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошёл в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась; видно было, что её недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на неё; две тяжёлые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая – во щи. Он заслонил лицо своё рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового<sup>22</sup>. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

---

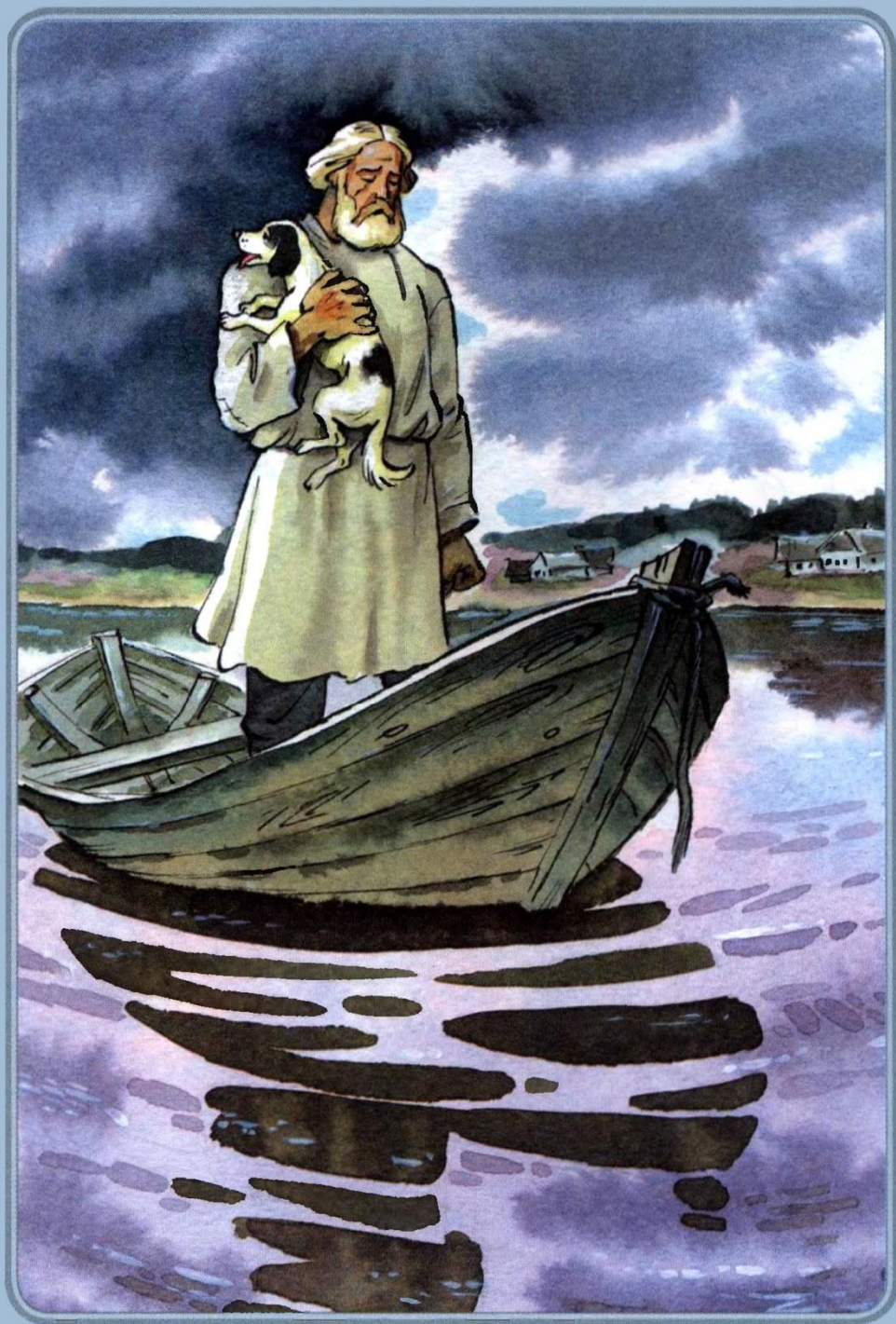
<sup>21</sup> Хожалый – посыльный, служитель при полиции для различных поручений.

<sup>22</sup> Половой – слуга в трактире.

Герасим шёл не торопясь и не спускал Муму с верёвочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому Броду. На дороге он зашёл на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского Брода он повернул по берегу, дошёл до одного места, где стояли две лодочки с вёслами, привязанными к кольшкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головою и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался саженой на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромя, в шалаш.

А Герасим всё грёб да грёб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил вёсла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке — дно было залито водой, — и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал верёвкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел её на шею Муму поднял её над рекой, в последний раз посмотрел на неё... Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки...

Герасим ничего не слышал — ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и, когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гонясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему



Тургенев И. С.  
«Муму»

поплёскивали они об бока лодки, и только далеко назад к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донёс всё, что видел.

– Ну да, – заметил Степан, – он её утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...

В течение дня никто не видал Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

– Экой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка. – Можно ли эдак из-за собаки прокляжаться!.. Право!..

– Да Герасим был здесь! – воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

– Как? Когда?

– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шёл, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчёт собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да такого необыкновенного леща мне в стантовую жилу поднёс, важно так, что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потёр себе затылок. – Да, – прибавил он, – рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т...у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал её узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил ещё тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шёл по нём с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе ра-



достной решимостью. Он шёл; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперёд. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба ещё белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня, – с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взпуски перекликались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги; но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с тёмных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, – ветер с родины, – ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собою белеющую дорогу – дорогу домой, прямую, как стрела; видел в небе несчётные звёзды, светившие его путь, и, как лев, выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять вёрст... Через два дня он уже был дома, в своей избёнке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, – и пошёл косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загрёбы...

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили её, сказали Гавриле. Тот пришёл, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе со своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы

то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!» – пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам её было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку<sup>23</sup>.

И живёт до сих пор Герасим бобылём<sup>24</sup> в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему и работает за четырёх по-прежнему и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, – толкуют мужики, – на что ему собака! к нему на двор вора оселом<sup>25</sup> не затащишь!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.



---

<sup>23</sup> Распустили по оброку – отпустили дворовых на заработки, за что они должны были платить помещику оброк – определённую сумму денег ежегодно.

<sup>24</sup> Бобыль – одинокий человек.

<sup>25</sup> Осел – накидная петля, аркан.

# ЛЕСКОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ



**ЛЕВША**

*(Сказ о тульском косом левше  
и о стальной блохе)*

## Глава первая

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нём был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, всё государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома своё не хуже есть, — и чем-нибудь отведёт.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят

воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать своё над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, – Платов сказал себе:

– Ну уж тут шабаш. До этих пор ещё я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

– Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, – говорит, – такие природы совершенства, что как посмотришь, то уж больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришёл в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки<sup>26</sup>, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всём доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

## Глава вторая

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание – подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромные бюстры, и посередине под валдахином стоит Аболон полведерский.

---

<sup>26</sup> Кизлярки (Примеч. Н. С. Лескова).

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлён и на что смотрит; а тот идёт глаза опустивши, как будто ничего не видит, – только из усов кольца вьёт.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на всё это радуется, всё кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него всё ничего не значит.

Государь говорит:

– Как это возможно – отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

– Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

Государь говорит:

– Это безрассудок.

Платов отвечает:

– Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружьё, а из другой пистолю.

– Вот, – говорят, – какая у нас производительность, – и подают ружьё.

Государь на Мортимерово ружьё посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

– Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства – её наш адмирал у разбойничьего атамана в Канде-лабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

– Ах, ах, ах, – говорит, – как это так... как это даже можно так тонко сделать! – И к Платову по-русски оборачивается и говорит: – Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвёртку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два – замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

– Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

– Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов ещё больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? – думал Платов, – совсем того не понимаю», – и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навёл.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

## Глава третья

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

– Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

– Нет, я ещё желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане всё государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

– А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво*?

А англичане и не знают, что это такое *молво*. Перешёптываются, перемигиваются, твердят друг дружке:

«Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

– Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дёрнул и тихо сказал:

– Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение её между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава Богу, всё благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

– Что это такое значит? – спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

– Это вашему величеству наше покорное поднесение.

– Что же это?

– А вот, – говорят, – извольте видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

– Извольте пальчик послунить и её на ладошку взять.

– На что же мне эта соринка?

– Это, – отвечают, – не соринка, а нимфозория.

– Живая она?

– Никак нет, – отвечают, – не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнёт дансе<sup>27</sup> танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

– А где же ключик?

А англичане говорят:

– Здесь и ключ перед вашими очами.

– Отчего же, – государь говорит, – я его не вижу?

– Потому, – отвечают, – что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

– Извольте, – говорят, – взять её на ладошечку – у неё в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдёт дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в

---

<sup>27</sup> Танец (от фр. «данзе»).



щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, – хотят серебряными пяточками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на неё не принесли: без футляра же ни её, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на неё у них сделан из цельного бриллиантового ореха – и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казённый, а у них насчёт казённого строго, хоть и для государя – нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что говорит:

– Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и всё ещё недостаточно! Футляр, – говорит, – всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

– Оставь, пожалуйста, это не твоё дело – не порть мне политики. У них свой обычай. – И спрашивает: – Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это ещё пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всём свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, – говорит, – принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота<sup>28</sup>. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут – всё могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нём совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, солёным бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царём в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

– Ты, – говорит, – к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

---

<sup>28</sup> «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своей кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот» (Примеч. Н. С. Лескова).

Платов остался с обидою и лёг дома на досадную укушечку, да так всё и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

### Глава четвёртая

Удивительная блоха из аглицкой воронёной стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав её попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

– Моё, – говорит, – теперь дело вдове, и мне никакие забавы не обольстительны, – а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из неё табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нём нашёл стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился:

– Что это ещё за пусяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

– Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом её слегка помял и объявил:

– Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, – но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, – никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был ещё жив и даже всё ещё на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услышал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

– Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

– Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, – говорит, – пришёл доложить насчёт этой нимфозории, которую отыскали: это, – говорит, – так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, – и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичку эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

– Это, – говорит, – ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть её русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, – тогда ещё Сестрорецк Сестербеком звали, – не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

– Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка всё равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми её

с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междуособные разговоры насчёт их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

### Глава пятая

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал её тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

– Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

– Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против неё, – говорят, – надо взяться подумавши и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать, – остановись и спылай за нами: мы к той поре, Бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так

и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо своё смелое воображение исполнить, да тогда и от-дать. Говорят:

– Мы ещё и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

– Ну, нечего делать, пусть, – говорит, – будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, иначе, делать нечего, – я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдёт, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, – тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

– Тонкой работы, – говорят, – мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

*А что именно*, этого так-таки и не сказали.

## Глава шестая

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косою левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Мос-

ковскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не позволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да ещё потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто вёрст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орёл до Киева снова ещё добрых пять сот вёрст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнёшь – долго ещё будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

## **Глава седьмая**

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдёт в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики.

На святом Афоне знают, что туляки – народ самый выгодный, и если бы не они, то тёмные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдалённого Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и страшного» – святитель Мир-Ликийских изображён на ней «в рост», весь одет в сребропозлащённой одежде, а лицом тёмным и на одной руке держит храм, а в другой меч – «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют – ничего неизвестно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попро-



силь, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются – неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, – не выскочут ли в перепуге и не объявятся ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

– Горите себе, а нам некогда, – и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за своё дело принялся.

Только сквозь малые щёлочки было видно, как внутри дома огонёк блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, всё дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во всё это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

## Глава восьмая

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал.

А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнёт, и ещё злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возвратятся.

Так они и в Тулу прикатили, – тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из

коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и ещё мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлёт, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит – всё ему ещё скоро показывается.

Так в тогдашнее время всё требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

## Глава девятая

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики – те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дёрнули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безот-

дышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть. Послы закричали:

– Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да ещё этакою спиралью сшибать смее! Или в вас после этого Бога нет!

А те отвечают:

– Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьём, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

– Он нас до того часу живьём съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

– Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несём.

Свистовые побежали, но не с увёркою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застёгивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зелёном чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

## Глава десятая

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

– Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

– Готово ли?

– Всё, – отвечают, – готово.

– Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжён, и ямщик и фореитор на месте.

Казачи сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зелёный чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, – видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме её ничего больше нет.

Платов говорит:

– Это что же такое? А где же ваша работа, которую вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

– Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

– В чём же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

– Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду, – и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

– Где ключ от блохи?

– А тут же, – отвечают. – Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил, – никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от её брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

– Что вы, подлецы, ничего не сделали, да ещё, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

– Напрасно так нас обижаете, – мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, – мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти – он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

– Ну, так врѣте же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцаными пальцами за шивороток косога левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

– Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пубеля, – ты мне за всех ответишь. А вы, – говорит свистовым, – теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак – такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

– Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони – всё враз заработало, и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, рассказавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошёл к государю, а косога левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

## Глава одиннадцатая

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный – ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошёл во дворец со шкатулочкою да потихонечку её в зале за печкой и

поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответить, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чём не забывал, и чуть Платов насчёт междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

– А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

– Нимфозория, – говорит, – ваше величество, всё в том же пространстве, и я её назад привёз, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

– Ты – старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как всё дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

– Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

## Глава двенадцатая

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с неё суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, – а в нём блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

– Что за лихо! – Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

– У тебя на руках персты тонкие – возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория всё-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

– Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо ещё, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что ключья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

– У меня и так все волосья при учёбе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

– Это за то, – говорит Платов, – что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

– Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

– Я тебе, – говорит, – такой-сякой-этакой, ещё задам.

И велел свистовым, чтобы левше ещё крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая Мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, ко-

торые на ступенях стоят, всё от него отворачиваются, думают: попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят, – потому они его терпеть не могли за храбрость.

### Глава тринадцатая

Как довёл Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. – И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил её под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, – словом сказать, на все стороны её повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

– Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

– Его бы приодеть надо – он в чём был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

– Ничего – ввести как он есть.

Платов говорит:

– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

– Что ж, такой и пойду и отвечу.

Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошёл левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:





Лесков Н. С.  
«Левша»

– Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

– Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

– Оставьте над ним мудрить, – пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

– Мы, – говорит, – вот как клали. – И положил блоху под мелкоскоп. – Смотри, – говорит, – сам – ничего не видно.

Левша отвечает:

– Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь спросил:

– А как же надо?

– Надо, – говорит, – всего одну её ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

– Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень сильно мелко!

– А что же делать, – отвечает левша, – если только так нашу работу и заметить можно: тогда всё и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял – взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не

обманут. Смотрите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

## Глава четырнадцатая

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это ещё не всё удивительное.

– Если бы, – говорит, – был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, – говорит, – увидеть, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

– И твоё имя тут есть? – спросил государь.

– Никак нет, – отвечает левша, – моего одного и нет.

– Почему же?

– А потому, – говорит, – что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, – там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

– Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

– Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

– Бог простит, – это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию – вроде подарка, чтобы там поняли, что

нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вёз блоху особый курьер, который на все языки учён, а при нём чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

– Пусть, – говорит, – над тобою будет благословение, а на дороге я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал – прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нём какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ремненным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

## Глава пятнадцатая

Ехали курьер с левшой очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдохнуть не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок ещё уже перетягивали, чтобы кишки с лёгкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранныму: «Ай люли – се тре жули»<sup>29</sup>.

Курьер как привёз его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер поса-

---

<sup>29</sup> Это очень хорошо (от фр. «c'est tres joli»).

дил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал служающему себе на рот, а тот сейчас его и свёл в пищеприёмную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-англицки спросить – не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, – англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне, – он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зелёная – вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждёт курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту её рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публициекие ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветой вышел.

– А самого этого мастера, – говорят, – мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприёмную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе – за руки. «Камрад, – говорят, – камрад – хороший мастер, – разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твоё благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, может быть, отравить с досады хотите.

– Нет, – говорит, – это не порядок: и в Польше нет хозяина больше – сами вперёд кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

– Что он – лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

– Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

– А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

– Он – левша и всё левой рукой делает.

Англичане ещё более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходились, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежившись, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

– Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

– Это удивительно.

А левша им отвечает:

– У нас это так повсеместно.

– А что же это, – спрашивают, – за книга в России Полусонник?

– Это, – говорит, – книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчёт гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

– Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо полезнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчёт силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и её подковок

несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

– Об этом, – говорит, – спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

– Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

– У меня, – говорит, – дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

– Мы, – говорит, – к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница – старушка и привыкли в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я ещё в холостом звании.

– Вы, – говорят, – обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

– Этого, – ответил левша, – никогда быть не может.

– Почему так?

– Потому, – отвечает, – что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

– Вы, – говорят англичане, – нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие со-держим.

– Евангелие, – отвечает левша, – действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

– Почему вы так это можете судить?

– У нас тому, – отвечает, – есть все очевидные доказательства.

– Какие?

– А такие, – говорит, – что у нас есть и боготворные

иконы и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине – мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

– Отчего же так? – спрашивают. – Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

– Я их не знаю.

Англичане отвечают:

– Это не важно суть – узнать можете: мы вам Грандеву сделаем.

Левша застыдился.

– Зачем, – говорит, – напрасно девушек морочить. – И отнекался. – Грандеву, – говорит, – это дело господское, а нам нейдёт, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

– А если, – говорят, – без Грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

– У нас, – говорит, – когда человек хочет насчёт девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

– Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

– Мы бы, – говорят, – только через одно любопытство



знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

– Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже ещё другое пришили, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу – плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

– Какое же вам в этом препятствие?

– Препятствия, – отвечает левша, – нет, а только опасуюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

– Неужели же, – говорят, – ваш фасон лучше?

– Наш фасон, – отвечает, – в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

– Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

– На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и всё своё искусство покажут.

– А потом, – говорят, – мы его на своём корабле привезём и *живого в Петербург доставим*.

На это он согласился.

## Глава шестнадцатая

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учён, но они им не интересовались, а левшою интересовались, – и пошли они левшу водить и всё ему показывать. Он смотрел всё их производство: и металлические фабрики и мыльнопильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчёт рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: всё, что который мастер делает, – на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает, и в аккурат сводит: что на цифирях написано, то и на деле выходит. А придёт праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на всё их житьё и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Всё обойдёт и хвалит и говорит:

– Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдёт, – засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнёт:

– Это, – говорит, – против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

– Не могу ли, – говорит, – я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

– Которые тут были, те, должно быть, глядели.

– А как, – говорит, – они были: в перчатке или без перчатки?

– Ваши генералы, – говорят, – парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

– Покорно благодарствуйте на всём угощении, и я всем у вас очень доволен и всё, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

– Мы на буреметр, – говорят, – смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

– Это всё равно, – отвечает, – где умереть, – всё единственно, воля Божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: наплатили, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шёл. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдёт на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнёт, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя

было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша всё вниз в каюты нейдёт – под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в тёплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

– Нет, – отвечает, – мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка делается.

Так всё время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

– Молодец, – говорит, – рус! Выпьём!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

– Ещё!

Левша и ещё выпил, и напились. Полшкипер его и спрашивает:

– Ты какой от нашего государства в Россию секрет везёшь?

Левша отвечает:

– Это моё дело.

– А если так, – отвечал полшкипер, – так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

– Какое?

– Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьёт, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, – скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно – пари держать всё-таки веселее будет.

– Хорошо, – говорит, – идёт!

- Только чтоб честно.
  - Да уж это, – говорит, – не беспокойтесь.
- Согласились и по рукам ударили.

## **Глава семнадцатая**

Началось у них пари ещё в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды чёрт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит чёрта рыжего, а левша говорит, будто он тёмен, как мурин.

Левша говорит:

- Перекрестись и отворотись – это чёрт из пучины.

Англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

– Хочешь, – говорит, – я тебя в море швырну? Ты не бойся – он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

- Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понёс к борту.

Матросы это увидели, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и своё пари выдержать, – а горячего студингу с огнём им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу – в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

## **Глава восемнадцатая**

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его

при себе в тёплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

– Кто такой и откуда, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пёстрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повёл городской левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша всё это время на холодном парате лежал; потом поймал городской извозчика, только без тёплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут – уши рвут, чтобы в память пришёл. Привезли в одну больницу – не принимают без тугамента, привезли в другую – и там не принимают, и так в третью, и в четвёртую – до самого утра его по всем отдалённым кривопуткам таскали и всё пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городскому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого со словия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на лёгкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

– Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

## Глава девятнадцатая

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашёл, только его ещё на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

– Мне бы, – говорит, – два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

– Разве так можно! У него, – говорит, – хоть и шуба овечкина, так душа человеческина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человеческину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову – он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

– Как же, братец, – говорит, – очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил – теперь меня больше не уважают, – а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошёл и к Скобелеву и всё рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

– Я эту болезнь понимаю, только немцы её лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного зва-

ния, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

– Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышёву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышёв на него закричал:

– Знай, – говорит, – своё рвотное да слабительное, а не в своё дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка всё продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдaшнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышёву о левше и напомнил, а граф Чернышёв и говорит:

– Пошёл к черту, плезирная трубка, не в своё дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слышал, – тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрётся», – так и молчал.

А доведи они левшины слова в своё время до государя, – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

## Глава двадцатая

Теперь всё это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад ле-



генды и эпический характер её главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворённый народною фантазиею миф он интересен, а его происхождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвётся в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».



**КУСАКА**

### I

Она никому не принадлежала; у неё не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От тёплых изб её отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом, она показывалась на улице, ребята бросали в неё камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страха, перемётываясь со стороны на сторону, натываясь на загорожи и людей, она мчалась на край посёлка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз её пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

– Жучка! – позвал он её именем, общим всем собакам.  
– Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

– Да пойдя, дура! Ей-богу, не трону!

Но пока собака колебалась, всё яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперёд, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесённые ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул её в бок носком тяжёлого сапога.

– У-у-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрёл домой.

С тех пор собака не доверяла людям, а иногда со злобой набрасывалась на них и пыталась укунить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать её.

На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила её: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улёгшись на своё место, она всё ещё злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и чёрные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонёк: то отражалась на стекле упавшая звезда или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

## II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колёс и грузным топотом людей, перено-

сящих тяжести. Приехали из города дачники, целая весёлая ватага взрослых, подростков и детей, опьянённых воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях всё видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьёзно сказала:

– Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкрадываясь собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

– Ай, злая собака! – убегая, крикнула девушка, и долго ещё слышался её взволнованный голос: – Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на своё место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого свежего дёгтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а

то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя всё зелёным, голубым и беззловонным, делало их ещё добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить её из револьвера, если не уберётся, но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

– А где же наша Кусака?

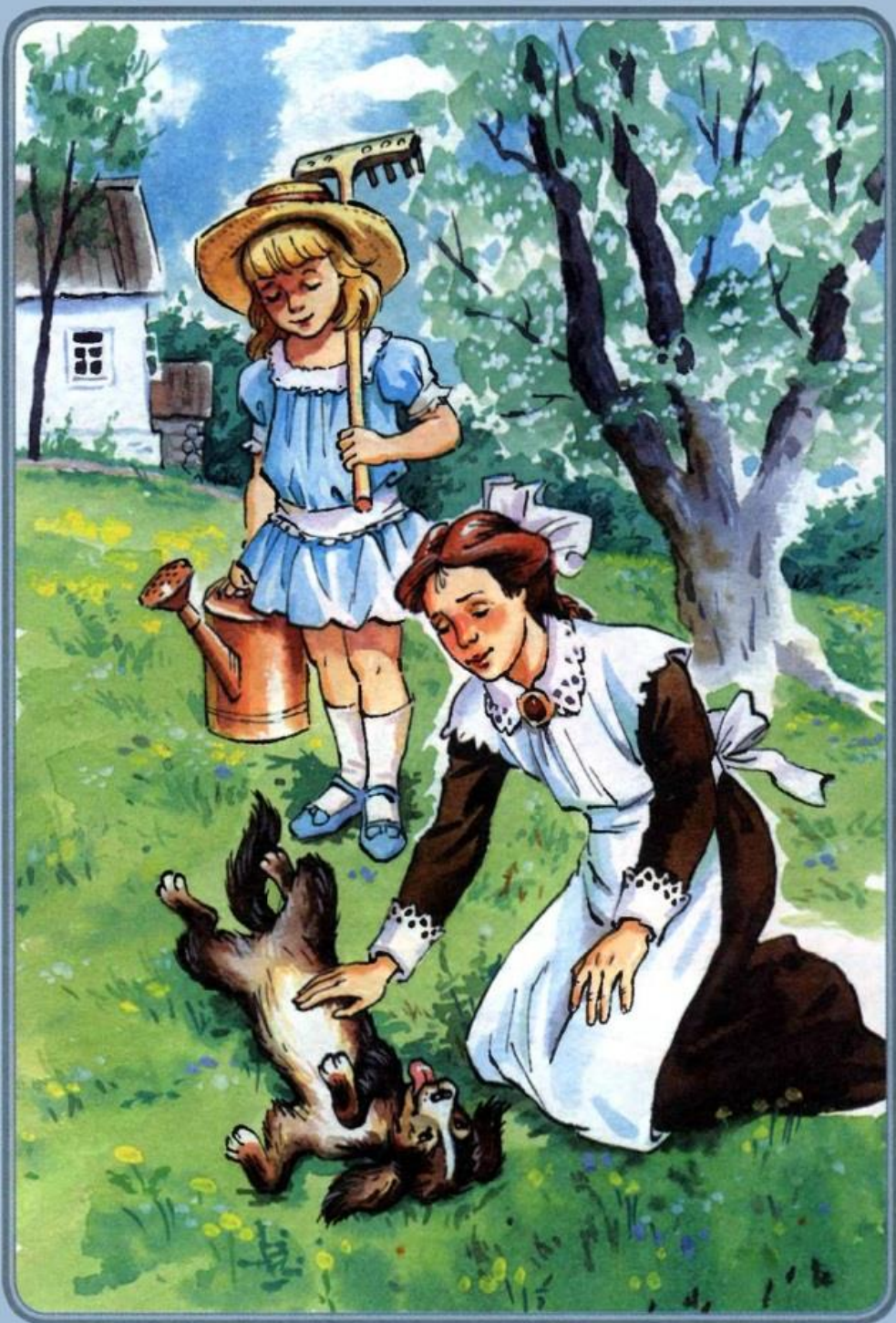
И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днём замечали в кустах тёмное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросившей хлеб, – словно это был не хлеб, а камень, – и скоро все привыкли к Кусаке, называли её «своей» собакой и шутили по поводу её дикости и беспричинного страха. С каждым днём Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее её от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Лёля, забывшая обиду, окончательно ввела её в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

– Кусачка, пойдй ко мне! – звала она к себе. – Ну, хорошая, ну, милая, пойдй! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойдй же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит?

– Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят её или приласкают. Но её приласкали. Маленькая тёплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно



Леонид Андреев  
«Кусака»

это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

– Мама, дети! Смотрите: я ласкаю Кусаку! – закричала Лёля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит её, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами – у неё отняли её непримиримую злобу. И когда все наперебыв стали ласкать её, она долго ещё вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

### III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У неё было имя, на которое она стремглав неслась из зелёной глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве не достаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило её до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас.

И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить её или бросить камнем.

Но такую гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем ещё выпарился огнём ласк из её сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго ещё всякая лас-



ка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственно, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить её восторга, благодарности и любви, — и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и её тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

– Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! – кричала Лёля и, задыхаясь от смеха, просила: – Ещё, Кусачка, ещё! Вот так! Вот так!..

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в её глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть её отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали её, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях.

Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

– Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом весёлом хохоте.

Её хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определённый час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась



на своё место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи и, когда маленькие дети звали её с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам всё так же громок и бдителен был её сторожевой лай.

#### IV

Жёлтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

– Как же нам быть с Кусакой? – в раздумье спрашивала Лёля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

– Что у тебя за поза, Лёля! Ну кто так сидит? – сказала мать и добавила: – А Кусаку придётся оставить. Бог с ней!

– Жа-а-лко, – протянула Лёля.

– Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах её держать нельзя, ты сама понимаешь.

– Жа-а-лко, – повторила Лёля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, её тёмные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

– Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что – дворняжка!

– Жа-а-лко! – повторила Лёля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжёлыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты,

неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нём фигуры в красных рубашках.

– Ты здесь, моя бедная Кусачка, – сказала вышедшая Лёля. Она уже была одета по-дорожному – в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и чёрную кофточку. – Пойдём со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и всё пространство между почерневшею землёй и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеною.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими кучами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты.

Прорвался солнечный луч, жёлтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным, шире и печальней стала туманная осенняя даль.

– Скучно, Кусака! – тихо проронила Лёля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

## V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – промокшая, грязная – вернулась на дачу. Там она проделала ещё одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил

пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождём лился с не приветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго ещё боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завывала. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понёсся над тёмным и обнажённым полем.

## ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул её пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

– Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обострённою внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился ещё один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шёпота. Если его брил не сам хозяин, Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то шёпот становился громким и принимал форму неопределённой угрозы:

– Вот погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал

воду и его ждёт наказание. «Так их и следует», – думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жёсткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешёвых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешёвого разврата. Они господствовали над этой местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик; тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьёз, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался как большой: курил папиросы, сплёвывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда, счастливый и

смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощёчины: по одной на каждую щёку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днём спотыкавшийся от желания спать, приваливался в тёмном углу за перегородкой, а Михайла читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоём, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробормом.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щёки, стеклянные удивлённые глаза и редкие прямые ресницы, – и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распушенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи вёрст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намёком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались со-

всем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за неё. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбредались по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; её растрёпанные волосы волочились по песку, а полуобнажённое тело, грязное и жёлтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Её усаживали на дно извозчичьей пролётки и везли, и свесившаяся голова её болталась, как у мёртвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родных брата. И зимою и летом он видел всё те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились всё пестрее от мушиных следов да увеличивалась чёрная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», – и он всё подавал её, всё подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала

на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своём стуле и погружённую не то в думы, не то в тяжёлую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то всё хотелось спать, и часто казалось, что всё вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слышал резкого крика: «Мальчик, воды!» – и всё худел, а на стриженной голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведённые острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика. Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесённые сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придёт опять. А Надежда с горем думала, что у неё один сын – и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут её господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал её к двери и дёргал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычной дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его

вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосую суетою, грохотом проходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые всё идут и идут, точно им и конца нету, впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбуждённости и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

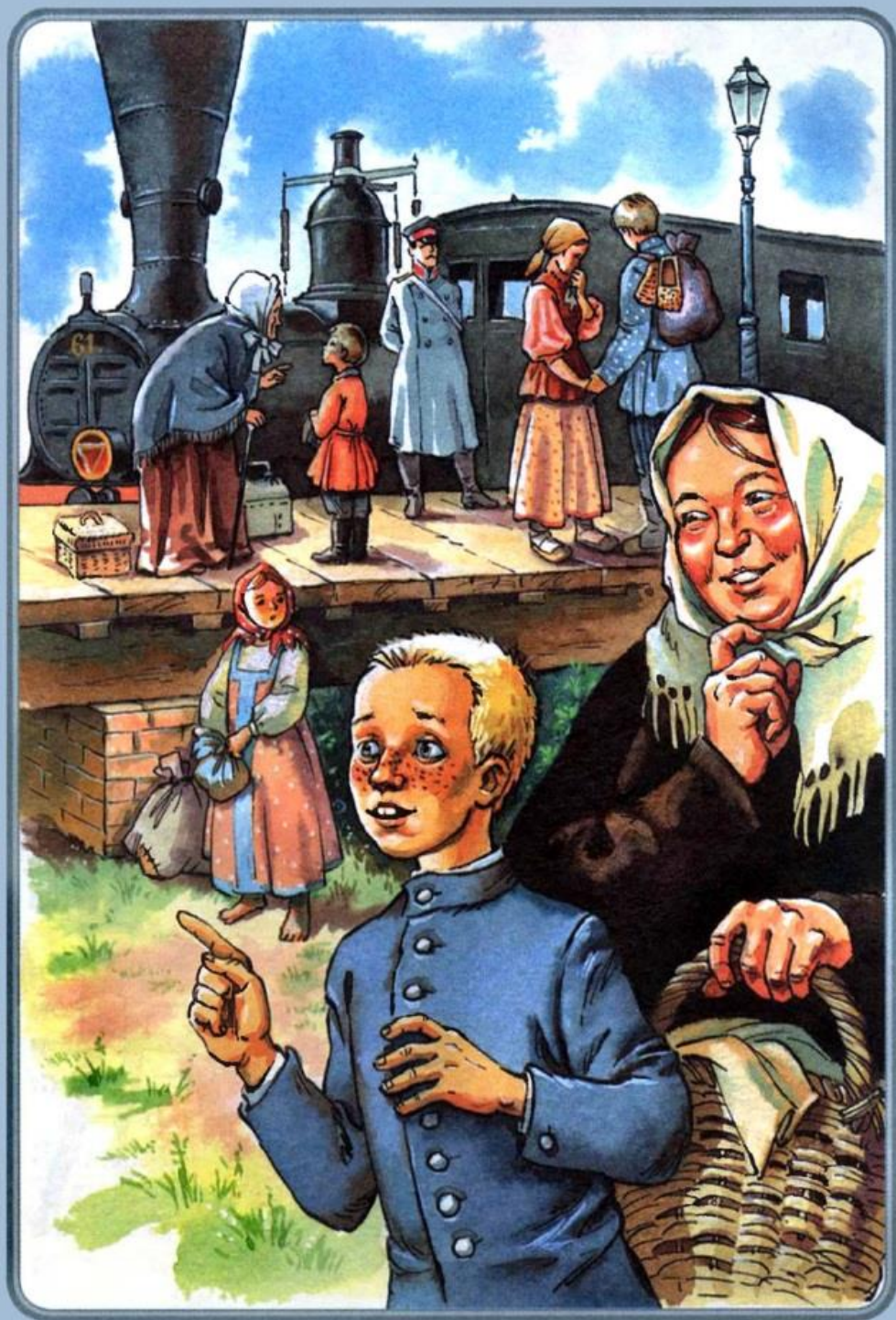
Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и всё здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нём плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебежал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и всё время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

– Впервой по чугунке едет – интересуется...

– Угу! – пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живёт у парикмахера и тот обещал поставить





Леонид Андреев  
«Петька на даче»

его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки, на случай болезни или старости, у неё нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала всё это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, тёмно-зелёная от постоянной сырости, и на краю её были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зелёной горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провёл горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Всё здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был тёмный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зелёные, весёлые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестёр, а тёмно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомлённый, задышающийся,

разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зелёной поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, тёрся возле неё и, когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, конфузливо улыбался и отвечал:

– Хорошо!..

И потом снова шёл к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чём-то.

Но прошло ещё два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-жёлтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые – так выжгло их солнце. Он ловил в пруду рыбу, когда Петька увидал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошёлся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повёл его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошёл, то не хотел вылезать из неё и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлёбывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца: лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растёт молодая рябина и берёзки, тишина стоит мёртвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

– Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! – радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало – не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обглаживает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дел было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей, – на всё это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжёт, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он её только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, весёлые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отражённые деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привёз из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и, когда прочёл его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идёт о Петьке. Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щёки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку.

Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

– Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!» – подумал барин.

– Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

– Надобно ехать, сынок!

– Куда? – удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, – уже найдено.

– К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил:

– А как же завтра рыбу ловить? Удочка – вот она...

– Что же поделаешь!.. Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит – он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и всё не понимал. С одной стороны был факт – удочка, с другой призрак – Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, ещё не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощённые, – он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чём попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь ещё усилить её.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

– Вот видишь, перестал, – детское горе непродолжительно.

– Но мне всё-таки очень жаль этого бедного мальчика.

– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живётся и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зелёные поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота её выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручки его были благонаравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

– Ты удочку спрячь! – сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу! Может, ещё приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды!» – и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределённо угрожающий шёпот: «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок, и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и

другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

– Вот черти! Чтоб им повылазило!

– Кто черти?

– Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдалённый жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.



# МАКСИМ ГОРЬКИЙ



## ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, чёрной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и – тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике – жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, – стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, – им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятые крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утёсы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.



Буревестник с криком реет, чёрной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, – гордый, чёрный демон бури, – и смеётся, и рыдает... Он над тучами смеётся, он от радости рыдает!

В гневе грома, – чуткий демон, – он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, – нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

– Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревушим гневно морем; то кричит пророк победы:

– Пусть сильнее грянет буря!..

## **ПЕСНЯ О СОКОЛЕ**

Море огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звёзд. Кажется, что небо всё ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чём шепчут неутомные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые тёплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали чёрные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить

немолчный плеск воды и вздохи пены, – все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, ещё скрытой за горными вершинами.

– А-ала-ах-а-акбар!.. – тихо вздыхает Надыр-Рагимоглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожжённый южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, – у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращён к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращённой к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы, и оба находимся в том настроении, когда всё кажется прозрачным, одухотворённым, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота, – это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

– Верный Богу человек идёт в рай. А который не служит Богу и пророку? Может, он – вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Тёмное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нём появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льёт свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

– Рагим!.. Расскажи сказку... – прошу я старика.

– Зачем? – спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

– Так! Я люблю твои сказки.

– Я тебе всё уж рассказал... Больше не знаю... – Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

– Хочешь, я расскажу тебе песню? – соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

## I

«Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твёрдый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

– Что, умираешь?

– Да, умираю! – ответил Сокол, вздохнув глубоко. – Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

– Ну что же – небо? – пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повёл очами...

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье тёмном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

– О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди, и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..» И предложил он свободной птице:

– А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и проживешь ещё немного в твоей стихии.

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошёл к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошёл он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и – вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным рёвом о камень бились... И тупа птицы не видно было в морском пространстве...

## II

В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

– А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полётам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и – сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рождённый ползать – летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

– Так вот в чём прелесть полётов в небо! Она – в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам всё знаю! Я – видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье – землёй живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою. Блестело море, всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином рёве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поём мы славу!

Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью... Но будет время

– и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поём мы песню!..»

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде всё больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползёт к голове Рагима.

– Куда идёшь?.. Пшла! – машет на неё Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Всё кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, ещё не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По тёмно-синему небу золотым узором звёзд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Всё дремлет, но дремлет напряжённо чутко, и кажется, что вот в следующую секунду всё встрепенётся и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонёк, и увлекут с собой душу высоко в тёмно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звёзд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...



## КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ



**СЛОН**

### I

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою ещё двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз глазные веки и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на непонятном языке.

Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор – высокий, седой, в золотых очках – рассказывает ей о чём-то серьёзно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с её кровати всё видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идёт о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:

– Главное, не давайте ей скучать. Исполняйте все её капризы.

– Ах, доктор, но она ничего не хочет!

– Ну, не знаю... вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки... какие-нибудь лакомства. ..

– Нет, нет, доктор, она ничего не хочет...

– Ну, постарайтесь её как-нибудь развлечь... Ну, хоть чем-нибудь... Даю вам честное слово, что если вам удастся её рассмешить, развеселить, то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни, и больше ничем... До свидания, сударыня!

## II

– Милая Надя, милая моя девочка, – говорит мама, – не хочется ли тебе чего-нибудь?

– Нет, мама, ничего не хочется.

– Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

– Спасибо, мама... Мне не хочется... Мне скучно...

– Ну, хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь.

– Не надо, мама. Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно!

– Хочешь, я тебе принесу шоколаду?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невесёлыми глазами. У неё ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днём. Что бы с ней ни делали, ей всё равно, и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и всё курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встаёт и отходит к



окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердись, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бежит из угла в угол и всё... курит, курит, курит... И кабинет от табачного дыма делается весь синий.

### III

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

– Тебе что-нибудь нужно? – спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шёпотом, точно по секрету:

– Мама... а можно мне... слона? Только не того, который нарисован на картинке... Можно?

– Конечно, моя девочка, конечно, можно.

Она идёт в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом; на слоне красное седло, а на седле золотая палатка, и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

– Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мёртвый.

– Ты погляди только, Надя, – говорит папа. – Мы его сейчас заведём, и он будет совсем, совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идёт по столу. Девочке это вовсе не интересно и даже скучно, но, чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко:

– Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки... Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона... и ни разу не повёз...

– Но послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах... И потом, где я его достану?

– Папа, да мне не нужно такого большого... Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого... Хоть слонёнышка...

– Милая девочка, я рад всё для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это всё равно, как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается.

– Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжётся. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника... настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

– Я устала... Извини меня, папа...

Папа хватая себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу (за что ему всегда достаётся от мамы) и кричит горничной:

– Ольга! Пальто и шляпу!

В переднюю выходит жена.

– Ты куда, Саша? – спрашивает она.

Он тяжело дышит, застёгивая пуговицы пальто.

– Я сам, Машенька, не знаю, куда... Только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона.

Жена смотрит на него тревожно.

– Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?

– Я совсем не спал, – отвечает он сердито. – Я вижу, ты

хочешь спросить, не сошёл ли я с ума? Покамест ещё нет. До свиданья! Вечером всё будет видно.

И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

#### IV

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как учёные звери, по приказанию хозяина, выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки – одни в красных юбках, другие в синих штанишках – ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один большой, два совсем маленькие, карлики, но всё-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжёлые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую чёрную сигару.

– Извините, пожалуйста, – говорит Надин отец. – Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко открывает глаза и далее рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибает-

ся, подымает сигару, вставляет её опять в рот и только тогда произносит:

– Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова... Но отец поспешно объясняет, в чём дело: его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж месяц в кровати, худеет, слабеет с каждым днём, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят её развлекать, но ей ничто не нравится, велят исполнять все её желания, но у неё нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать? И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

– Ну, вот... Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но... спаси Бог... вдруг её болезнь окончится плохо... вдруг девочка умрёт?.. Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил её последнего, самого последнего желания!..

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:

– Гм... А сколько вашей девочке лет?

– Шесть.

– Гм... Моей Лизе тоже шесть. Гм... Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придётся привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днём нельзя. Соберётся публикум, и сделается один скандал... Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток.

– О, конечно, конечно... не беспокойтесь об этом...

– Потом: позволит ли полиция вводить один слон в один дом?

– Я это устрою. Позволит.

– Ещё один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?

– Позволит. Я сам хозяин этого дома.

– Ага! Это ещё лучше. И потом ещё один вопрос: в каком этаже вы живёте?

– Во втором.

– Гм... Это уже не так хорошо... Имеете ли вы в своём доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол. Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину пять с половиной аршин. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

– Знаете ли что? – говорит он. – Поедем сейчас ко мне и рассмотрим всё на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

– Очень хорошо! – соглашается хозяин зверинца.

## V

Ночью слона ведут в гости к больной девочке. В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на неё внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам. Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идёт среди толпы и уговаривает её:

– Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены

настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону. Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

– Надо дать ему какое-нибудь лакомство... – говорит немец. – Какой-нибудь сладкий булка или что... Но... Томми!.. Ого-го... Томми!..

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец даёт ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтем. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом, его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой... Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

## VI

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

– А что же слон? Он пришёл?

– Пришёл, – отвечает мама, – но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила «горячего молока».

– А он добрый?

– Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдём к нему.

– А он смешной?

– Немножко. Надень тёплую кофточку.

Яйцо было съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была ещё такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нём грубая, в тяжёлых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот – точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то наверно достал бы им до окна. Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

– Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

– Здравствуйте, как вы поживаете? – отвечает она. – Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?

– Томми.

– Здравствуйте, Томми, – произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на ты. – Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берёт и пожимает её тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

– Ведь он всё понимает? – спрашивает девочка немца.

– О, решительно всё, барышня!

– Но только он не говорит?

– Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Её зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель.

– А вы, Томми, уже пили чай? – спрашивает девочка слона.

Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки тёплым сильным дыханием, отчего лёгкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.

Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеётся. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня?

– Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьёт сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет её куда-то вниз под голову, где у него движется смешная, треугольная, мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвёртой, и с пятой и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки ещё больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

– Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла – это Соня. Она очень добрый ребёнок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа, Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это Матрёшка. Это моя самая первая кукла. Видите, у неё нет носа и голова приклеена и нет больше волос. Но всё-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она



раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеётся, берёт Матрёшку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладёт её девочке на колени, правда немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

– Это лошадь, это канарейка, это ружьё... Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона... А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

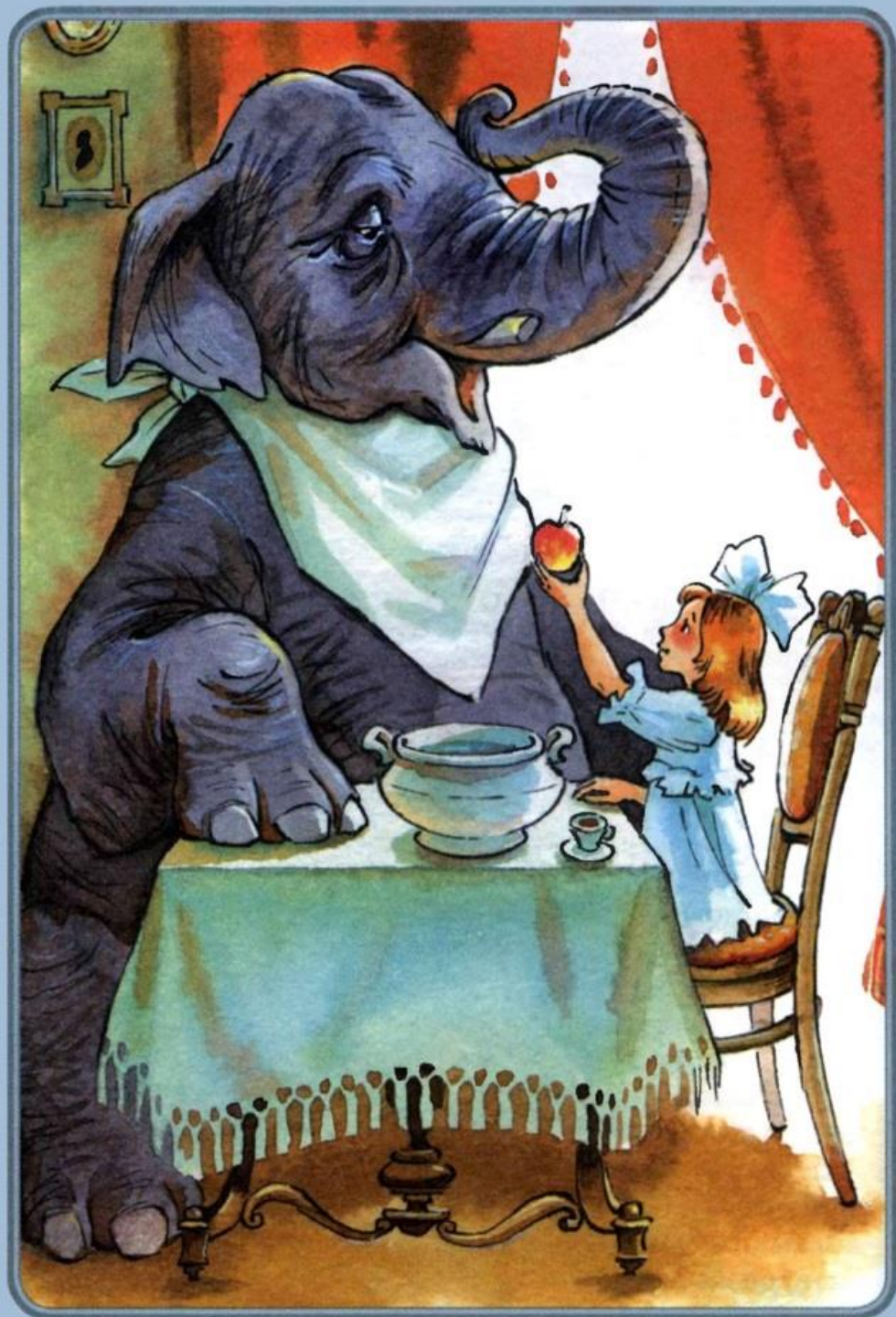
Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает её.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

– Позвольте, я всё это устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается, дребезжит посуда в шкапу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон – разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону тёплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое – девочка чашку какао, а слон половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьёт пиво, только в большем количестве.

После обеда приходят какие-то папины знакомые, их



Куприн А. И.  
«Слон»

ещё в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям.

– Не бойтесь, он добрый! – успокаивает их девочка. Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают.

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако её невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и её уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как её раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми и у них много детей, маленьких, весёлых слонят. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота...

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была ещё здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:

– Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

– А слон?

Ей объясняют, что слон ушёл домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждёт её к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

– Передайте Томми, что я уже совсем здорова!

**I**

Узкими горными тропинками, от одного дачного посёлка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа.

Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрёстков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперёд.

За собакой шёл двенадцати летний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свёрнутый ковёр для акробатических упражнений, а в правой нёс тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец, сзади плёлся старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенёсшая на своём веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лайнера и галоп из «Путешествия в Китай» – обе бывшие в моде лет тридцать-сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому когда до неё доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан; раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки до тех пор, пока ей вдруг не приходило желание замолчать.

Дедушка сам признавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

– Что поделаешь! Древний орган... простудный... Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, – говорят, – гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» вальс. Опять-таки трубы эти... Носил я орган к мастеру – и чинить не берётся. Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей... вроде как какой-нибудь памятник... Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, Бог даст, и ещё покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжёлой бродячей жизни, он стал наконец видеть в ней что-то одухотворённое, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил её по резному боку и шептал ласково:

– Что, брат? Жалуешься?... А ты терпи...

Столько же, сколько шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги вдового сапожника, обязавшись ему за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душой и мелкими житейскими интересами.

## II

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был ещё синее, ещё гуще в узорчатых прорезах среди серебристо-зелёной листвы. В траве, в кустах кизила и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравняется с ним.

– Ты что, Серёжа? – спросил шарманщик.

– Жара, дедушка Лодыжкин... нет никакого терпенья! Искупаться бы...

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.

– На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купанья ещё больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует... значит, мол, расслабляет... Соль-то морская...

– Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей.

– Ну вот, врал!.. Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий... домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде... Подожди, дойдём ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно искупаться-то... а потом, значит, поспать трошки... и отличное дело...

Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и побежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

– Что, брат пёсик? Тепло? – спросил дедушка.

Собака напряжённо зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

– Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь... Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а всё-таки... Ну, пошёл, пошёл вперёд, нечего под ногами вертеться!.. А я, Серёжа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь... Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лёг где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полёживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твёрдой как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и весёлой публикой.

Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твёрдыми и блестящими, точно лакированными, листьями и белыми, с большую тарелку величиной цветами; беседки, сплошь затканые виноградом, свесившим вниз тяжёлые гроздья; огромные, многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные, душистые розы, – всё это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

– Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтане-то золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, уме-

реть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решётке, огораживающей сад с большим бассейном по середине. – Дедушка, а персики! Она сколько! На одном дереве!

– Иди, иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. – Погоди, вот дойдём мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там, действительно, места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум... Глаза раскосишь глядевши... Скажем, примерно, пальма! Удивление! Ствол у неё мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

– Ей-богу? – радостно удивился Сергей.

– Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон... Видал небось в лавочке?

– Ну?

– Просто так себе и растёт в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша... И народ там, братец, совсем диковинный... Придём – сам увидишь. Одно только плохо: лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарница. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие... Ты меня спроси: уж я всё знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа ещё не приехали». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным ви-



дом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

– Две да пять, итого семь копеек... Что ж, брат Серёженька, и это деньги. Семь раз по семи – вот он и полтинник набежал; значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради... Эх, не понимают этого господя! Двугривенный дать ему жалко, а пятак стыдно... ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки... Я ведь не обижаюсь, я ничего... Зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окружённой садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, ещё внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т.д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределённые, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

– Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, всё знаю! Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стёртым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал её. Он уже вышел на

дорогу и отошёл далеко от дачи, но всё ещё держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.

– Н-да-а... Ловко! – произнёс он, внезапно остановившись. – Могу сказать... А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту, по крайности, куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: всё равно старик кому-нибудь её ночью спустит – потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня! Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный посёлок и уж собирались сойти к морю. По левую руку оставалась ещё одна, последняя дача. Её не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запылённых кипарисов, похожих на длинные чёрно-серые веретёна. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зелёный яркий шёлк, газона, округлые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак, там люди шевелятся? Вот так история! Сколько лет здесь хожу – и никогда ни души. А ну-ка, ва-ли, брат Сергей!

– «Дача «Дружба». Посторонним вход строго воспре-

щается», – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживающих ворота.

– Дружба?.. – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмём. Это я носом чую, на манер как охотничий пёс. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Серёжа! Ты меня всегда спрашивай: уж я всё знаю!

### III

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах над пёстрым ковром из разноцветных трав возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В фонтанах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом на мраморных столбах стояли два блестящих зеркальных шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил, как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в лёгком матросском костюмчике, с обнажёнными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало ещё шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми ба-

кенбардами; сухопарая рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесучовой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте-с... Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться...

Женщины в фартуках всплёскивали руками и щебетали скоро-скоро, подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень трогательное, но совершенно непонятное, очевидно, на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая болезненная дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

– Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну прими же, прими лекарство! Увидишь, тебе сразу станет легче: и животик пройдёт и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени?

Ну, вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я подарю тебе золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!

– Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, – загудел толстый господин в очках.

– Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на своё крайнее волнение, он всё-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

– Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? – спросил он шёпотом. – Никак, драть его будут.

– Ну вот, драть... Такой сам всякого посекуёт. Просто – блажной мальчишка. Больной, должно быть.

– Шамашедший? – догадался Сергей.

– А я почём знаю? Тише!..

– Ай-яй-я-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался всё громче и громче мальчик.

– Начинай, Сергей! Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись; даже мальчик замолчал на несколько секунд.

– Ах, боже мой, они ещё больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорей! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов. Сухопарая красноносая девица делала

страшные глаза. Кто-то угрожающе зашипел... Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопыбив в стороны руки, побежал к шарманщику.

– Эт-то что за безобразия! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шёпотом. – Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

– Господин хороший, дозволейте вам объяснить... – начал было деликатно дедушка.

– Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.

– Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. – Идём!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые оглушительные крики:

– Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Да-ай! Позвать! Мне!

– Но Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их! – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

– Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

– Пст!.. Музыканты! Слушайте-ка, назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он наконец за рукав дедушку, – заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Живо!..

– Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил её перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суэта на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришёл садовник в фартуке и стал неподалёку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные чёрные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырёхугольным заводским клеймом), сбросил с себя рваную куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались путём подражания взрослым приёмы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из неё дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку так, что она несколько раз перевёртывалась в воздухе, и вдруг, поймав её горлышком на край тарелки, несколько секунд держал её в равновесии; жонглировал

четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами: веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истошив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошёл к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пёс это отлично знал и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, неровным лаем. Почём знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает тридцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз

Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

– Служить, Арто! Так, так, так... – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись... Ещё, ещё... Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись!.. Что-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят! А-а... то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой. Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин.

– Гав! – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил ещё два раза: – Гав, гав!

«Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом недовольном лае.



– Вот это другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землёю хлыст. – Алле! Нечего, брат, язык-то высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно. А ну-ка ещё, нох ейн маль (ещё раз). Алле... Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придём домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний, засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошёл к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелёк. Все окружающие сочувственно улыбались.

– Что? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, всё знаю! Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

– Хочу-у-а-а! – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у!..

– Ах, боже мой! Ах, Николай Аполлонович!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе.

– Собаку! Поддай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки!.. – выходил из себя мальчик.

– Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

– Вообще говоря, я не советовал бы, – развёл тот руками. – Но если надёжная дезинфекция, например борной кислотой или слабым раствором карболовки, то-о... вообще...

– Соба-а-ку!

– Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть её борной кислотой, и тогда... Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. А, слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить: она не бешеная? Или, может быть, у неё эхинококки?

– Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Со-всем мне! Хочу сам играть... Навсегда!

– Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьёшь маму своим криком! И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, ещё ближе... ещё, вам говорят!.. Вот так... Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает всё, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребёнка!.. Доктор, прошу вас... Сколько же ты хочешь, старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло почтительно-жалкое выражение.

– Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство... Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо... Чай, сами старичка не обидите...

– Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака ваша, а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

– А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку! – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

– То есть... простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я человек старый, глупый... сразу-то мне не понять, к тому же и глуховат малость... То есть как это вы изволите говорить?.. За собаку?

– Ах, бог мой!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды... Я вас спрашиваю русским языком: за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку...

– Собаку! Соба-аку! – залился громче прежнего мальчик.

Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

– Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот пёс, сударыня, можно сказать, нас двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, чтобы, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

– Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорее лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради Бога.

– Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Истукан-ан... Арто, иди сюда!..

– Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да ещё вместе с тобой на придачу... Ты подумай, осёл, сколько тебе дают!

– Покорнейше вас благодарю, барин, а только... – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку на плечи. – Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите... Счастливого оставаться... Сергей, иди вперёд!

– А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, каналы!

– Дворник! Семён! Гоните их! – закричала с искажённым от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубаше с зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем всё это кончится. Предшественные изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шёл дворник, подталкивая старика сзади в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

– Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодарите ещё Бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придёшь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину уряднику. Шантрапа!

...Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.

– Что, дедушка Лодыжкин? Ты всё знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей.

– Да-а, брат! Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка... Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Подавай, говорит, собаку! Этак что ж? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну и денёк сегодня задался! Удивительно!

– На что лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Всё ты, дедушка Лодыжкин, наперёд знаешь.

– А ты помалкивай, огарок! – добродушно огрызнулся

старик. – Как от дворника-то улепётывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьёзный мужчина этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженьях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из неё на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся тёмно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце паруса рыбацких лодок.

– Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособлю орган снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растёт паренёк, – думал Лодыжкин. – Даром что костлявый – вон все рёбра видать, а всё-таки будет парень крепкий».

– Эй, Серёжка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

– А я её за хвост! – крикнул издали Сергей.

Дедушка долго стоял на солнышке, шупая у себя под мышками. В воду он сошёл очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было жёлтое, дряблое и бесильное, ноги поразительно тонкие, а спина с выдававши-

мися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.

– Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтеньем, крикнул тревожно:

– Ну, а ты не балуйся, поросёнок! Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул её языком. Но солёная вода ему не понравилась, а лёгкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

– Эй, Серёжа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик.

– Сейчас, дедушка Лодыжкин, – отозвался мальчик. – Смотри, как я пароходом плыву. У-у-у-ух!

Он наконец подплыл к берегу, но, прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

– Постой-ка, Серёжа, никак это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубашке с чёрными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую трупку с дачи.

– Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.

## IV

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причём рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус:

– О-го-го!.. Подождите трошки!..

– А, чтоб тебя намочило да не высушило! – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчёт Артошки.

– Давай, дедушка, накладём ему! – храбро предложил Сергей.

– А ну тебя, отвяжись!.. И что это за люди, прости Господи...

– Вы вот что... – начал запыхавшийся дворник ещё издали. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом. Ревёт, как теля: подай да подай собаку... Барыня послала: «Купи, – говорит, – чего бы ни стоило».

– Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять-таки какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня. И, пожалуйста... я тебя прошу... Уйди ты от нас, христа-ради... и того... и не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни рядом со стариком и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

– Да пойми же ты, дурак человек...

– От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка.

– Да постой... не к тому я это... Вот, право, репей какой!.. Ты подумай: ну что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пёс. Ну? Не правду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:

– Бреши дальше... Я потом сразу тебе отвечу.

– А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды... Но ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть...

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один приём и искательно завилял хвостом.

– Кончил? – коротко спросил Лодыжкин.

– Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам.

– Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку?

– Обыкновенно – продать. Чего вам ещё? Главное, паныч у нас такой скаженный<sup>30</sup>. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и всё тут. Это ещё без отца, а при отце... святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер; может быть, слышали: господин Обольянинов? По всей России железные дороги строит. Миллионер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу пони живую – на тебе пони. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чём, ни в чём отказу...

– А луну?

– То есть в каких это смыслах?

– Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

– Ну вот... тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил человек: лады у нас, что ли?

Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

– Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или,

---

<sup>30</sup> Скаженный – сумасшедший.



скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства... Поймай, дружка, ты собаке колбасу даром не стравляй... сам лучше скушай... Этим, брат, её не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг... который сыздетства... то за сколько бы ты его, примерно, продал?

– Приравнял тоже!..

– Вот те и приравнял! Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не всё, мол, продаётся, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебя! Сергей, собирайся!

– Дурак ты старый! – не вытерпел наконец дворник.

– Дурак, да от роду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи от наших, мол, с любовью низкий поклон. Свёртывай ковёр, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдём.

– Значит, та-ак! – многозначительно протянул дворник.

– С тем и возьмите! – задорно ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятернёй под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

## V

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повёл своих спутников. Неподалёку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбежала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника

ка, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоём, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестящей в траве, как живое серебро.

– Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе, под орешником. – Ну-ка, Серёжа, господи благослови.

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных помидоров, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растёт – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тёк по их губам и рукам красный, как кровь, сок, заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от неё кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

– Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! – крикнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царём, всё бы

эту воду пил... с утра бы до ночи!.. Арто, иди сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Ох-ох-охо-нюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела тёмная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь неё синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

– Первое дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом... туфли тоже розовые, атласные... В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо... всё электричество горит... Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше... почём я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебе в афише запустим – Антонио, или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо...

Дальше мальчик ничего не слышал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубашке, но, разморённый сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

– Арто... куда? Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжёлых и бесформенных видениях...

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперёд по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

– Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

– Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затёкшую руку.

– Собаку мы проспали, вот что! – раздражённым голосом, грубо ответил мальчик. – Пропала собака.

Он резко свистнул и ещё раз закричал протяжно:

– Арто-о-о!

– Глупости ты выдумываешь!.. Вернётся, – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом: – Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты ровное ярко-белое полотно дороги, но на нём – ни одной фигуры, ни одной тени.

– Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завыл старик. Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки. – Да-а, вот оно какое дело-то! – произнёс старик упавшим голосом. – Сергей! Серёжа, поди-ка сюда.

– Ну, что там ещё? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашёл?

– Серёжа... что это такое? Вот это, что это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.

– Свёл ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал дедушка, всё ещё сидя на корточках. – Не кто, как он, –

дело ясное... Помнишь, давеча, у моря-то, он всё колбасой прикармливал.

– Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

– Что же нам теперь делать, Серёженька? А? Делать-то нам что теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперёд и беспомощно всхлипывая.

– Что делать, что делать! – сердито передразнил его Сергей. – Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдём!..

– Пойдём, – уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. – Ну что ж, пойдём, Серёженька!

Вышедший из терпенья Сергей закричал на старика, как на маленького:

– Будет тебе, старик, дурака-то валять! Где это видано, всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Не правду я говорю? Прямо придём и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет – к мировому<sup>31</sup>, вот и весь сказ.

– К мировому... да... конечно... Это верно, к мировому... – с бессмысленной горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому... да... Только вот что, Серёженька... не выходит это дело... чтобы к мировому...

– Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик.

– А ты, Серёжа, не того... не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчёт пачпорта я опасуюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно: – у меня, Серёжа, пачпорт-то чужой.

---

<sup>31</sup> Мировой – судья.

– Как чужой?

– То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения. Наконец вижу – нет никакой моей возможности, живу, точно заяц, всякого опасаясь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, – говорит, – сущие пустяки. Клади, – говорит, – старик, на стол двадцать пять рублей, и я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, прощай моя голова. «Давай», говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

– Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко. Собака-то уж хороша очень!..

– Серёженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве бы я поглядел, что они генералы? За горло бы взял! «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Серёжа. Приду я в полицию – первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» – «Я, ваше скродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один Бог его ведает. Почём я знаю, может, воришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Серёжа, ничего мы тут не сделаем... Ничего, Серёжа...

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слёзы опять потекли по глубоким, коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал поднимать.

– Пойдём, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К чёрту пачпорт, пойдём! Не ночевать же нам на большой дороге.

– Милый ты мой, родной! – приговаривал, трясаясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная... Артошенька-то наш... Другой такой не будет у нас...

– Ладно, ладно... Вставай, – распряжался Сергей, – Дай я тебя хоть от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал всё роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шёл рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьёзное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы ещё раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду, под стройными печальными кипарисами, стояла важная, невозмутимая, торжественная тишина.

– Гос-спо-да! – шипящим голосом произнёс старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.

– Будет тебе, пойдём! – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

– Серёженька, может, убежит от них ещё Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шёл вперёд большими, твёрдыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

## VI

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал. Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «Звезда».

Вместе с ними ночевали греки-каменотёсы, землекопачи-турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся подённым трудом, а также несколько тёмных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определённый час, разлеглись на скамьях, стоявших вдоль стен, и прямо на полу, причём те, что были поопытнее, положили из нелишней предосторожности себе под голову всё, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплётом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мёртвое выражение.

– Ты куда ночью ходишь, малцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

– Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сергей.

Зевая, почёсываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую тёмно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещённой стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то с верхнего шоссе доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.



Миновал белую, с зелёным куполом в виде луковицы мечеть, окружённую молчаливой семьёй тёмных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для лёгкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его чёрным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился тёмный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нём однообразно, через ровные промежутки, тонким нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над тёмными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой лёгкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчётливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала – лишь кое-где изредка вспыхивали её блёстки – и вдруг у самой земли широко расплёскивалась живым, сверкающим металлом.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчётливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была чёрная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые

ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чашу деревьев, скользнул по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.

Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал упрямо:

– А всё-таки я полезу! Всё равно!

Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на неё, потом, лёжа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же всё туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за её край только пальцами вытянутых рук, но его ноги всё ещё не встречали опоры. Он не мог сообщить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем снаружи, и по мере того, как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас всё сильнее проникал в его душу. Наконец он не выдержал: его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз.

Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушённый падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубашке, подымет крик, суматоха... Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду: «Жжу... жжу... жжу...»

«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги. Всё было страшно, таинственно,

сказочно красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешёптываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, тёмные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьём, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла: «Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»

Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнавал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому.

Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из тёмных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказа.

– Только не в доме... в доме её не может быть! – прошептал, как сквозь сон, мальчик. – В доме она выть станет, надоест...

Он обошёл дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно предназначенных для прислуги. Здесь так же, как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в тёмных стёклах мёртвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его уха. Мальчик остановился, не дыша, с напряжёнными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Кажалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых маленьких четырехугольных отверстий без стёкол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошёл к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих.

– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шёпотом.

Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в тёмном подвале, силясь от чего-то освободиться.

– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. – вторил ей плачущим голосом мальчик.

– Цыц, окаянная! – раздался снизу зверский басовый крик. – У, каторжная!

Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным, прерывистым воем.

– Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену.

Всё, что произошло затем, Сергей помнил смутно, точно в каком-то ужасном, горячечном бреду. Дверь подвала широко, с грохотом распахнулась, и из неё выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъярённым сказочным чудовищем.

– Кто здесь бродит? Застрелю! – загрохотал, точно гром, его голос по саду. – Воры! Грабят!

Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок верёвки.

Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным ужасом, связал его ноги, парализовал всё его маленькое, слабое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от страха, пустился бежать прочь от подвала.

Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства.

С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной белой стеной и растущими вдоль неё кипарисами была узкая тёмная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в неё и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперёд, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький, обезумевший от ужаса зверёк, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыханье кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперёд, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в тёмную, тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, мёртвая тоска, вялое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Всё ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо повизгивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх её был утыкан замазанными в извёстку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперёк туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пёс отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.

Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая тёмная фигура. Два гибких, ловких тела — собаки и мальчика — быстро и мягко прыгнули вниз, на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.

Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго ещё бежали без отдыха — оба сильные, ловкие, точно окрылённые радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей ещё оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком верёвки, и всё изловчался лизнуть его с разбегу в самые губы.

Мальчик пришёл в себя только у источника, у того самого, где накануне днём они с дедушкой завтракали. При-



Куприн А. И.  
«Белый пудель»

павши вместе ртами к холодному водоёму, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причём с их губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоёму, не будучи в силах от него оторваться. И когда они наконец отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещённой луной, между тёмными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освежённого листа...

В кофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шёпотом:

– И сто ти сё сляесься, малцук? Сто ти сё сляесь-ся? Вай-вай-вай, нехоросо...

Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щёки, глаза, нос и рот.

Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя верёвку, увидел лежащего рядом с собой покрытого пылью мальчика – и понял всё. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться: мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.



## БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ



### ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но всё-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задрёмывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

– Холодно, тётка? – спросил странник, лёжа на конике.

– Нет, – ответила Марья, – туман. А собаки валяются, – беспреренно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Телёнок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

– Сиротка! Корову-то прогусарили?

– Продали.

– И лошади нету?

– Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда ещё картохи копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусок в горло не идёт», и Танька всё смотрела на её горло, не понимая, о чём толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку – черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришёл ещё один, ещё чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел её во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на неё, заревел во всё горло и Васька... Потом «чёрный» опять вывел со двора лошадь, привязал её к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

«Анчихристы», лошадики-мещане, были и правда свирепы на вид, особенно последний – Талдыкин. Он пришёл позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

– Ну, – кричал один, – смотри сюда, получай с богом деньги!

– Не мои они, побереги, полцены брать не приходится, – уклончиво отвечал Корней.

– Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобылёнке боле годов, чем нам с тобой? Молись Богу!

– Что зря толковать, – рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришёл Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые чёрные глаза, форма носа, скулы – всё напоминало в нём эту собачью породу.

– Что за шум, а драки нету? – сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошёл к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на неё. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскорейча, ехать время, я на выгоне дождю», – и пошёл к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

– Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

– Долгого взгляда не стоит, – сказал он.

– Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошёл и сделал ленивые глаза.

– Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дёрнул её за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошёл.

– Плоха? – стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

– Долголетня?

– Лошадь не старая.

– Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

– Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдёт, получай одиннадцать жёлтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

– Молись Богу да полбутылочки ставь.

– Что ты, что ты? – обиделся Корней. – Ты без креста, дядя!

– Что? – воскликнул Талдыкин грозно. – Обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

- Да какие же это деньги?
- Такие, каких у тебя нету.
- Нет, уж лучше не надо...
- Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, – верь совести...

Корней отошёл, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришёл октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, заноса выгон, лозины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы, для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нём палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны – от грозных окриков матери:

– Ты куда? Чичер, холод – а она, накася! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демонёнок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

– Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сидением на «грубке» печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть тёмным, дрожащим фитилём достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать

чинила рубахи или вязала варежки; наклонённое лицо её было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она «старинные» песни, которые слыхала ещё в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В тёмной избе, завейной снежными вьюгами, вспоминалась Марье её молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями, и за ржами опускалось солнце и золотую пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у неё будут такие же зори, будет всё, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съёрызывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлёбке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в тёмные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шёпот матери: «Угодники Божий, святителю Никола-милостивый, столпохранение людей, матушка пресвятая Пятница – молитте Бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капустаки», а спокойный, насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать.

– Вот домовой-то, – говорил он серьёзно, – всё спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушёл ещё с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде «беда», – полушубков не шьют, больше по-

мирают, – и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селёдки, и даже «вот такой-то кусок» солёного судака батя принёс в тряпочке: «на истинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал»... Но когда батя ушёл, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился Богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в поясице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинышек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил сигарку. Умытое лицо его было широко, жёлто и плотно, нос вздёрнут, глаза глядели остро и удивлённо.

– Что ж, тётка, – сказал он, – даром солому-то жжёшь, варева не ставишь?

– Что варить-то? – спросила Марья отрывисто.

– Как что? Ай нечего?

– Вот домовой-то... – пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

– Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась.

– Спят, – сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на неё и сказал:

– Горевать, тётка, нечего.

Марья молчала.

– Нечего, – повторил странник. – Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам – и ничего себе... Эх, не ночёвывала ты на снежку под ракитовым кустом – вот что!

– Не ночёвывал и ты, – вдруг резко ответила Марья, и глаза её заблестели, – с ребяташками с голодными, не слыхал, как голоса они во сне с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы ещё до рассвету обегала – Христом богом просила, одну краюшечку добыла... и то,

спасибо, Козёл дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко – в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

– Я вон, – продолжала она, всё более волнуясь, – гоню их каждый день на пруд... «Дай капусты, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дёрнула по глазам рукавом, поддала ногой котёнка («У, погибли на тебя нету!...») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у неё стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съёрзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить, – думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. – Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, лёгкие «козырьки»; меринок шёл в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в тёплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кам-

панин, проиграв в карты почти всё состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в своё скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

– Погоняй, потрогивай, Егор, – сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задёргал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

– Чтой-то Бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

– Тронуло, да не морозом, – отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

– А как же?

– Объедены.

– Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

– Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

– А кто же?

– Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

– Я объел, – повторил Павел Антоныч. – Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

– Чего оскалешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:



– Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

– А кнутовище? – строго и быстро спросил Павел Антоныч.

– Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

– На тебе два, дай мне один. А кнут – он, брат, ременный – вернись, найди.

– Да он, может... около городу.

– Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошёл назад по дороге. А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме.

Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нём тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около неё Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у неё блестели ясными звёздочками, шелковистые беленькие её волосики были причёсаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела её. Павел Антоныч остановился.

– Ты чья? – спросил он.

– Корнеева, – ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

– Постой, постой, – закричал Павел Антоныч, – я отца видел, гостинчика привёз от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил её в сани и повёз. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил её вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ёрзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги её повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить её под мышки и опять начал уговаривать. Всё теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребёнка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились всё живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для неё играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивлённо: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил её черносливом – Танька сперва не брала – «он черниций, ну-кась умрёшь», – дал ей несколько кусков сахара. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».

Павел Антоныч причесал её, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних тёмных комнатах чётко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у неё роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошёл тихий звук. Танька засмеялась.

– Опять? – сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.

– погоди, – шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешёл на «Зореньку».

*Заря ль моя, зоренька,  
Заря ль моя ясная!*

Он глядел на задрёмывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поёт вместе с ним песни:

*По заре-зарю  
Играть хочется!*

Деревенской красавицей! А что ждёт её? Что выйдет из ребёнка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошёл по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, – и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч всё быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушённых, как белым



Бунин И. А.  
«Танька»

мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зелёные – звёзды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щёки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поёт в тёмной дымной избе старинные песни...

## КОСЦЫ

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом берёзовом лесу поблизости от неё – и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь срединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой – или благословенной – Богом стране. И они шли и пели среди её вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И берёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние» рязанские. Они небольшой арте-

люю проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, – в обычае, в повадке, в языке, – опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, – так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, – потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

– Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

– Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая ещё светлый за зелёными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись:

– Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» – подвигались по берёзовому лесу, бездумно лишая

его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая дивная прелесть их песни.

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами – и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, её простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И ещё в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия, и что только её душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох берёзовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной лёгкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось – человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и

ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонешкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

*Ты прости-прощай, любезный друг,  
И, родимая, ах да прощай, сторонешка! –*

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадёжной укоризной.

*Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,  
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! –*

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, – точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

*Коль не любишь, не мил – Бог с тобою,  
Коли лучше найдёшь – позабудешь! –*



и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

*Ах, коли лучшие найдёшь – позабудешь,  
Коли хуже найдёшь – пожалеешь!*

В чём ещё было очарование этой песни, её неизбывная радость при всей её будто бы безнадежности? В том, что человек всё-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» – говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» – говорил человек – и знал, что всё-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, всё будет над ним родное небо, а вокруг – беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за тёмные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» Закатилось моё счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её глушью обступает меня, – и всё-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитячко!» – И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба Яга, жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чу-

додейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, чёрные топи болотные, пески летучие, – и прощал милосердный Бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие...

Ещё одно, говорю я, было в этой песне – это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далёкие – и невозвратимые. Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рысучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклęcia, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи – и настал конец, предел Божьему прощению.

## **МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ**

Прекрасные летние дни, спокойное Чёрное море.

Пароход перегружен людьми и кладью, – палуба загромождена от кормы до бака.

Плаванье долгое, круговое – Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константинополь...

Жаркое солнце, синее небо, море лиловое; бесконечные стоянки в многолюдных портах с оглушающим грохотом лебёдок, с бранью, с криками капитанских помощников: майна! вира! – и опять успокоение, порядок и неторопливый путь вдоль горных отдалений, знойно тающих в солнечной дымке.

В первом классе прохладный бриз в кают-компании, пусто, чисто, просторно. И грязь, теснота в орде разноплеменных палубных пассажиров возле горячей машины и пахучей кухни, на нарах под навесами и на якорных цепях, на канатах, на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и

приятная, то тёплая и противная, но одинаково волнуящая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, хохлы и хохлушки, афонские монахи, курды, грузины, греки... Курды, вполне дикий народ, с утра до вечера спят, грузины то поют, то парами пляшут, легко подпрыгивая, с кокетливой лёгкостью откинув широкий рукав и плывя в расступившейся толпе, в лад бьющей в ладоши: таш-таш, таш-таш! У русских паломников в Палестину идёт без конца чаепитие; длинный мужик с обвисшими плечами, с узкой жёлтой бородой и прямыми волосами вслух читает Писание, а с него не спускает острых глаз какая-то вызывающе независимая женщина в красной кофте и зелёном газовом шарфе на чёрных сухих волосах, одиноко устроившаяся возле кухни.

Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда воротился, увидел, что по трапу поднимается целая новая ватага оборванных и вооружённых курдов — свита идущего впереди старика, большого и широкого в кости, в белом курпее и серой черкеске, крепко подпоясанной по талии ремнём с серебряным набором. Курды, плывшие с нами и лежавшие в одном месте палубы целым стадом, все поднялись и очистили свободное пространство. Свита старика настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно возлёг на это ложе. Борода его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском блестели небольшие карие глаза.

Я подошёл, присел на корточки, сказал «селям», спросил по-русски:

– С Кавказа?

Он дружелюбно ответил тоже по-русски:

– Дальше, господин. Мы курды.

– Куда же плывёшь?

Он ответил скромно, но гордо:

– В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня прославил.

– Це, це, це! – с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с папиросой в руке молодой полнеющий красавец и франт, керченский грек: вишнёвая дамасская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные панталоны и застёгнутые на пуговицы сбоку лакированные ботинки. – Такой старый и один остался! – сказал он, качая головой.

Старик посмотрел на его феску.

– Какой глупый, – ответил он просто. – Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?

Красавец недоверчиво улыбнулся:

– Какую обезьяну?

– Ну так послушай! Бог сотворил небо и землю, знаешь?

– Ну, знаю.

– Потом Бог сотворил человека и сказал человеку: «Будешь ты, человек, жить тридцать лет на свете, хорошо будешь жить, радоваться будешь, думать будешь, что всё на свете только для тебя одного Бог сотворил и сделал. Доволен ты этим?» А человек подумал: «Так хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало!» Слышишь? – спросил старик с усмешкой.

– Слышу, – ответил красавец.

– Потом Бог сотворил ишака и сказал ишаку: «Будешь ты таскать бурдюки и вьюки, будут на тебе ездить люди и будут тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен?» И ишак зарыдал, заплакал и сказал Богу: «Зачем мне столько? Дай мне, Бог, всего пятнадцать лет жизни». – «А мне прибавь пятнадцать, – сказал человек Богу, – пожа-

луйста, прибавь от его доли!» И так Бог и сделал, согласился, и вышло у человека сорок пять лет жизни... Правда, человеку хорошо вышло? – спросил старик, взглянув на красавца.

– Неплохо вышло, – ответил тот нерешительно, но не понимая, очевидно, к чему всё это.

– Потом Бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. «Ты, – сказал Бог собаке, – будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства».

И, знаешь, собака даже завывала: «Ой будет с меня и половины такой жизни!» И опять стал человек просить Бога: «Прибавь мне и эту половину!» И опять Бог ему прибавил. Сколько лет теперь стало у человека?

– Шестьдесят стало, – сказал красавец веселее.

– Ну, а потом сотворил Бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет она жить без труда и без заботы, только очень нехороша лицом будет, – знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут, – и всё будет стараться, чтоб на неё глядели, а все будут на неё смеяться.

Красавец спросил:

– Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?

– И она отказалась, – сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук кальяна. – И человек выпросил себе и эту половину, – сказал он, снова ложась и затягиваясь.

Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь:

– Человек свои собственные тридцать лет прожил по-человечьи – ел, пил, на войне бился, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берёг своё богатство, всё

брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот всё это и с тобой будет, – насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.

– А с тобой отчего ж этого нету? – спросил красавец.

– Со мной нету.

– Почему такое?

– Таких, как я, мало, – сказал старик твёрдо. – Не был я ишаком, не был собакой, – за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?

## СОДЕРЖАНИЕ

**Толстой Лев Николаевич**

Филипок *(Быль)*

Акула

Прыжок *(Быль)*

**Чехов Антон Павлович**

Ванька

Белолобый

Каштанка

**Тургенев Иван Сергеевич**

Муму

**Лесков Николай Семёнович**

Левша

*(Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе)*

**Андреев Леонид Николаевич**

Кусака

Петька на даче

**Максим Горький**

Песня о Буревестнике

Песня о Соколе

**Куприн Александр Иванович**

Слон

Белый пудель

**Бунин Иван Алексеевич**

Танька

Косцы

Молодость и старость

Серия «Школьная библиотека»

## РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

*Для среднего школьного возраста*

Составитель

Юдаева Марина Владимировна

Художник

Подвилова Ольга Васильевна

Главный редактор А. Алир

Технический редактор М.В.Юдаева

Компьютерная вёрстка И.Я.Николаенко

Корректор С.П.Мосейчук

Ответственный за выпуск С.А. Баварова

Подписано в печать 19.02.2013.

Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. п. л. 12.

Гарнитура «Школьная».

Тираж 20000 экз. Заказ № 5765.

Издательство «Самовар»

125047, Москва, ул. Александра Невского, д.1.

Информация о книгах на сайте [www.knigi.ru](http://www.knigi.ru)

Оптовая продажа: ООО «Атберг 98»

(495) 925-51-39 [www.atberg.aha.ru](http://www.atberg.aha.ru)

Интернет-магазин: [www.books-land.ru](http://www.books-land.ru)

Отпечатано в филиале «Тверской полиграфический комбинат

детской литературы» ОАО «Издательство «Высшая школа».

170040, Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

Тел.: +7(4822)44-85-98. Факс: +7(4822)44-61-51

ISBN 978-5-9781-0476-9

© Издательство «Самовар»,  
составление, серийное оформление.

© РИО «Самовар 1990», иллюстрации.



ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

Серия рекомендована  
Департаментом  
общего среднего образования  
Министерства  
общего и профессионального образования  
Российской Федерации



Художник  
Ольга Подвишова



9 785978 104769 >